

**Леонид Максимович Леонов.**  
**Evgenia Ivanovna (1963 г.).**

Их привезли в Цинандали поздно ночью. Впереди за деревьями мерцала непонятная стена. Машина потявкала во тьму, приседая на задние колеса. Пока Стратонов раскуривал трубку, Евгения Ивановна оглянулась на мужа. Англичанин дремал, отвалился на спинку сиденья. Шляпа лихо съехала на висок, закушенные губы исчезли. Начинаясь очередной припадок.

Стратонов сам потискал резиновую грушу. Звук безнадежно застревал в местной тишине. Феноменальный сон висел над Алазанской долиной, потревожить его могло лишь землетрясение. Слово интурист утрачивало свое магическое действие в здешней глуши. Никто не выбегал за чемоданами приезжих.

— Совершайте же какие-либо телодвижения, вы потеряете службу, кацо, — прокрипел шоферу Стратонов. — Идите, стучитесь, черт вас возьми... ну, пожалуйста. Никто не украдет ваш проклятый биук.

Тот взорвался наконец на ломаном языке. Кому, как не Стратонову в качестве гида из буро путешествий, заботиться о заграничных господах! Пришлось повторить угрозу с упоминанием трех фамилий всекавказского значения. Чертыхаясь по-грузински, шофер отправился взламывать ближайшую дверь.

Евгению Ивановну поташнивало с непривычки к горным дорогам. На пенистой Йоре, когда искали брода, она едва не плакала, на перевале перед Телавом полкилометра тащилась пешком. Ее снова потянуло наружу из-за потребности в воздухе и одиночестве.

— Меня укачало... крикните, когда придут за вещами, — попросила Евгения Ивановна, выбираясь из машины. — Сделайте одолжение, кроме того: не прикрывайте дверцу, господин Стратонов. Муж буквально заболевает от некоторых сортов табака.

Прохладная горечь осенней травы и пастушеского дыма стекала сюда из предгорий. Тяжелая влажная листва угадывалась над головой, мрак обступал, как перед сотворением мира. Прислушиваясь к шорохам за спиной, Евгения Ивановна наугад двинулась в глубину парка.

Гравий позади хрустнул под осторожным шагом.

— У вас безошибочное чутье, миссис Пикеринг... — произнес по-французски Стратонов: чужой язык несколько маскировал этот до головной боли знакомый голос. — Тут в зарослях находится одна из интимнейших наших литературных святынь, мы навестим ее завтра. По ряду соображений я не рекомендую посещать ее впотьмах... Кстати, цинандальское плато кончается здесь обрывом, и можно подпортить очарование всей прогулки.

Своим настойчивым обращением к французской речи Стратонов намекал, что в создавшихся условиях им разумнее всего не узнавать друг друга. Не первый раз, начиная с Тифлиса, он предлагал забыть, что они встречались несколько лет назад и он причинил ей жестокое, на границе смерти, зло. Скользящая почтительность показывала, что он терзается скорее от стыда за свой поступок, чем — совести, хотя в случае сознания вины терзаться ему надлежало чуть больше.

То была ее первая любовь, и началась она близ Рождества однажды, в безмятежном степном городке. Стратонов приехал к матери-чиновнице долечиваться после раненья. Из госпиталя он подоспел прямо к гимназическому балу. Подпоручик танцевал с рукой на перевязи, тыловые барышни-выпускницы смотрели на него с обожаньем, кроме одной.

Самолюбие заставило офицера спуститься с орлиных высот к непокоренному существу в коричневом платье с кружевной пелеринкой. Там у них имелась аллея старых акаций под названием проспект Влюбленных Душ. Через жуткой красоты кладбище он уводил в голубую от луны степь, не теряя своей силы и зимою. Молодым людям даже смешно стало, как раньше не сдружились их семьи, живя наискосок на той же улочке. До самой Февральской революции чиновница и фельдшерская вдова взаимными визитами и услугами старались наверстать упущенное. Перед возвращеньем в часть, за

блинками на масленице, подпоручик по тогдашней моде нараспев прочел собственного сочинения стишок с пожеланием, чтобы одна подразумевавшаяся девушка сиянием своих глаз все вела бы и вела его на поединок с врагами обновленной жизни. Матери переглядывались, заранее считая себя родственницами, только вздрагивали при упоминании обреченных тиранов, из которых лично знали тамошнего старичка латиниста, старинного гонителя лентяев, и соседнего бакалейщика, отпускавшего питание в долг до пенсионной получки. Было решено, что, как только, бог даст, проиграют войну окончательно, тотчас и за свадебку. Но сперва стал исчезать из продажи сахар, а там начались перебои и в остальном. Венчание, как и самое жизнь заодно, старушки постановили отложить до минования смуты.

Осенью следующего года тайно воротившийся офицер Стратонов прятался то в стогах на пойме, то на голубятне у будущей тещи. Всю зиму по ночам через открытые форточки слышалась стрельба. К весне часть местных тиранов была закопана... Из них-то, наспех закиданных землицей, и вывелась летучая поденка тех лет — атаманы всея Руси, вселенские батьки с револьверами, коменданты земного шара и прочая оголтелая вольница. Она помчалась по степям с клинками наголо, верхами и на тачанках, ввинчиваясь, как пуля, в застоявшийся континентальный штиль, саморасстреливаясь на лету, облачками пыли оседая по обочинам древних шляхов. В городке появились крутые, в белых башлыках поверх черкесок, вроде шершней перетянутые полковники, замыслившие унять разбуженную Россию. Сам Деникин проездом призывал с паперти к подвигу местных орлов, и те, стриженные под машинку, пропахшие карболкой, натужными голосами кричали ура. Пошли маскарады в пользу военных сироток, пышные самосуды, кутежи со стрельбой, парады, беспросыпный картеж, безумная русская тоска. Скоро плесень повяла, поползла: красный огненный вал, потрескивая, покатился с севера по степи.

Вечерком со споротыми погонами поручик заскочил проститься с невестой. Ничего не осталось от юриста-третьекурсника в том задымленном дергающемся старике. «Женя, богиня, Офелия, веточка моя вишневая, я пронесу твой чудный образ сквозь пустыню этой самой... ну, как ее?» Он запнулся, воровато пощелкал пальцами и разревелся хуже мальчишки... Уже постреливали за окном, восставший гарнизон заперся в казармах, накануне через окраину с песней и гиканьем промчался красный эскадрон. Времени хватало в обрез, передовые эшелоны белой армии где-то у моря грузились в трюм иностранного парохода. Девушка вызвалась разделить судьбу любимого. Тот отбивался изо всех сил, хоть и сознавал дальнейшую участь офицерской невесты. Матери благословили их в дорогу и все пытались навязать по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наемной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации.

Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потемках, лошадь стояла смирно, нераспряженная, пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. У Жени озябли коленки... Пока муж хозяйственно прятал торбу с овсом, — дорога предстояла самая дальняя из всех возможных в жизни, — Женя все глядела на покинутый, пламеневший среди мрака горизонт. «Ах, мамочка, кровиночка моя, неужели стоило для этого родиться на свет?» Щекотный холодок струился по спине у Евгении Ивановны при воспоминанье о событиях следующих лет.

Полгода спустя Стратонов бросил ее без гроша в Константинополе. После одного длительного недоедания ушел из дому наниматься и не вернулся. Первое предположение было, что попал под трамвай. Три дня обезумевшая Женя рыскала по моргам чужого города. А она-то, глупая, думала, что смерть заберет их обоих сразу, если когда-нибудь устанут от счастья их тела, но и тогда души не смогут наглядеться друг на дружку!

Полностью холод наступившего одиночества она извела в жаркий полдень четвертых суток, когда голод несколько позаглушил горе. Такой маленькой стала вдруг в скверике перед громадой Айя-Софии, на которую покойный отец под хмельком домашней

наливки все собирался водружать православный крест. Остекленевшая, сидела там, прижимая ладонь ко рту, а вокруг шли и ехали по своим делам важные волосатые турки.

Свекровка брошечка и золотенькое мамино благословеньице были проедены в первый же месяц, мыть посуду в ресторанах доставалось лишь избраницам. Едва хватало сил обороняться от искушений легкой жизни. Уже близился порог обнищания, за которым наступает всяческая бесчувственность. Сиянья в глазах убавилось; что-то отцовское, угловатое, фельдшерское обозначилось в ее чертах. Вместе с другими такими же, под ногами у сытых, чужих и праздничных, голодуха погнала ее по столицам мира. И даже во снах той поры Жене все мечталось в могилу к мужу... но, значит, не шибко мечталось, если целых три года пришлось добираться, прежде чем оказалась на ее краю. Это случилось в Париже, куда ветер изгнания занес Женю после скитаний по балканским столицам.

Месяц назад отравилась светильным газом ее русская соседка по ночлежке: она была старше Жени, некрасивей, ей нечего было продавать, как и Жене, впрочем. Русским девкам в Париже далеко было до тех нарядных особ, что со скучающим видом, виляя бедрами, прогуливаются от церкви Мадлен до Гранд-Опера. Но жизнь улыбнулась Жене: в канун переломного события едва не поступила в одно увеселительное заведение, откуда их брали напрокат солидные, нередко высшего круга джентльмены, как на пикники ренуаровского типа, так и в морские прогулки на красивых яхтах. Получалось вроде кратковременного романа с ценными, помимо харчей, подарками в зависимости от оказанных услуг, — не исключались, впрочем, и одноразовые встречи в рамках забавного приключения. Уже мадам, тронутая отчаянием дикарки, соглашалась выдать ей аванс — главным образом на питание, залить жирком похудалые щеки, загладить голодные синяки под глазами, но в последнюю минуту ангажемент не состоялся. Женя предпочла иной, туда же, путь — несколько болезненный, зато короче.

То был самый черный ее денек, начиная с бухты Мод, где, по прибытии за границу, произошла та, памятная выгрузка беглой армии. Точно такой же моросил похоронный дождик. Женя сидела под мокрым тентом кафе и рассеянно следила за собой в воображении, как она, гадкая, разбухшая, но примиренная, плывет по Сене к морю; слеза застлала видение...

В общем, складывалось удачно, нечего было жалеть, и не отговаривал никто, однако перед самым уходом выпала из ладони приготовленная последняя ее монетка. стакан был пуст, круассаны съедены. На коленях, погибая от стыда, она напрасно шарила пальцами в луже с окурками у тротуара. Гарсон и посетители с любопытством наблюдали проношенные пятки ее чулок. В крайнюю минуту вмешался длинный забавный господин из-за соседнего столика. Оказалось, монета закатилась под его упавшую шляпу. Лишь после уплаты Женя сообразила, что по ценности найденная монета чуть не втрое превосходила потерянную. Плохо соображая происшедшее, Женя пустилась за незнакомцем вернуть сдачу с чуда, — именно этим забавным недоразумением все и началось. Мсье оказался очень любезен, мсье не расспрашивал ни о чем, мсье предложил делать для него некоторые выписки из старых каталогов Национального музея в Каире.

Плата была достаточная, бумагу заказчик давал свою, а с печатного Женя списывала даже без ошибок. Сверху указанного мсье не требовал никаких стеснительных для женщин услуг. Мсье оказался англичанином и, к сожалению, всего лишь проездом в Париже, в чем таилась оправдавшаяся вскоре угроза. Работы хватило ровно на месяц, мистер Пикеринг во главе важной экспедиции отправлялся в Месопотамию. Все рушилось. Женя выслушала новость с почерневшим лицом. Тогда выяснилось, что накануне у англичанина рассчитался личный секретарь.

Этот молодой человек и прежде занимался сравнительным изучением спиртных напитков, но последние полгода даже умеренные служебные поручения профессора мешали ему сосредоточиться на любимом предмете. Из слов англичанина можно было сделать заключение, что поездка на Восток расстроится и британская наука потерпит

ущерб, если Женя не займет пустующее место. По словам мистера Пикеринга, именно неопытность более всего привлекала его в новых секретарях: такие быстрее научаются работать в манере шефа. Кроме того, англичанин нуждался в практике русского разговорного языка: в давние студенческие годы он владел им настолько, что в курсовой работе сравнивал литературный стиль Слова и Задонщины, однако впоследствии растерял словарь. Решать надо было немедленно, путь намечался через Средиземное море. Потупясь, Женя молчала, вся в краске смущенья.

— Откройтесь, что пугает вас, Женни: дальность маршрута, морская качка, сомнительный месопотамский комфорт или внимание посторонних... ввиду моей своеобразной наружности, наконец? — полушутливо добивался мистер Пикеринг. — А может быть, сердечные привязанности удерживают вас в Париже?

— Ах, что вы, не то, совсем не то... — ужаснувшись предположению, шептала Женя. — Все это давно в прошлом у меня, только объяснить вам не могу!

— Да я и не стремлюсь проникать в ваши личные тайны... равно как не инспектирую багажа моих сотрудников перед отъездом. Путешествие порассеет ваши печали, которые, по моим наблюдениям, так чрезмерно и часто для вашего возраста туманят вам взгляд.

Нет, у нее имелись особые причины для колебаний. Что касается качки, ей уже довелось немножко ознакомиться с мореплаванием, валяясь вповалку с другими несчастными на общей палубе, где все горланило, пьяно рыдало, пело, бранилось и проклинали под гитару час рождения, двое суток не давая смежить глаза. «А в отдельной-то каюте, о-ла-ла, хоть за слоновьими клыками в Африку!» Слово само сорвалось с языка: этот континент весь день не выходил у ней из ума, накануне оттуда дошла до нее наконец грустная весточка о Стратонове. Она подтверждала прежний слух о его поступлении в африканский легион, заключительное прибежище всякого впавшего в отчаяние международного сброда. Итак, Стратонова убили в алжирской перестрелке при защите колониального форта от повстанцев, и якобы последний его вздох был обращен к жене и Жене. Раздавленная горем, она как-то не заметила в тот раз обилия умоляюще-жалких сопроводительных подробностей, с помощью которых озабоченный покойник старался доказать вдове достоверность своей гибели. О нет, ничто больше не задерживало Женю в этом городе, и если бы только... Она запнулась: ее колебания объяснились полным отсутствием имущества, а в таком путешествии трудно обходиться ночными постирушками. Если бы еще поездка состоялась попозже, она успела бы по уплате долгов обзавестись необходимым... И сразу открылось, что один разорившийся издатель мистера Пикеринга, совладелец крупного конфекциона в Бордо, заплатил ему часть гонорара за книгу о суммерийских надписях набором дамских вещей, как нарочно подходивших по размеру для его будущего секретаря. Жене было выгодней не вникать в существо столь ошеломляющих совпадений, тем более что все это шло в зачет ее жалованья. «Простите... каких, вы сказали, каких это надписей?» — из вежливости переспросила она на всякий случай, неподкупно нахмутив брови. Когда же обнаружилось в довершение всего, что по ученой рассеянности мистер Пикеринг купил утром пару лишних чемоданов, вместительных и недорогих, перепуганная насмерть Женя дрожащими губами отказалась наотрез.

Пароход был гигантский и трехтрубный, еще с защитным камуфляжем на бортах.

Толстый дым валил из главной трубы, как на детском рисунке. Свесясь через поручни, праздничные люди притворялись, будто наблюдают за погрузочной суматохой, а на деле, конечно, в сотни глаз следили за Женей, в сопровождении англичанина поднимавшейся по трапу. И вот она сама стояла в шеренгу с ними, глядя на колеблющийся от свежей морской погоды, такой превосходный, обновляющийся, послевоенный мир, расстилавшийся у ее подножья. Насколько хватало глаз, всюду хлопотали люди, подметали, мыли и красили, высвобождая красоту жизни из-под слоя нарочной подлой грязи, без чего ей бы не уцелеть. Даже на качающейся рыбацкой

фелюжке, среди радуг нефти на воде, видно было через бинокль: взрослые и дети в десяток рук скоблили палубу, штопали паруса, готовясь к векам благополучия. Поверх всего этого гремела незримая музыка и летали белые птицы.

Женя не заметила, как чумазый буксирный лоцман, захватив гиганта за ноздрю, стал разворачивать его в гавани перед отбытием в морской простор. Рыбой пахло в лицо и чуть закружилась голова, когда корабль встал лагом к волне. Наконец-то, живая, достигла моря! Даже хотелось немножко поубавить количество чудес, выпиравших изовсюду. Вдруг взвилась оглушительная струйка пара, и, пока все вокруг пропитывалось густым прощальным звуком, Женя вслух и маминими словами попросила бога, чтоб уж потерпел, не отменял бы в самом начале милосерднейшую из своих причуд.

Все шумы мира поглотила вода за кормой, вскорости исчезли и птицы, скользившие над серо-жемчужной гладью. Марсель таял в вечерней дымке, сады и кубики приморских вилл сменились лентой береговых огней... Хоть и пора было знакомиться, все не смела расспросить про остальных участников экспедиции; кстати, она так и не увидела их никогда. От мыслей становилось страшно, как во сне, но проснуться было еще страшнее.

Евгения Ивановна робко осведомилась у спутника о сроках его возвращения в Англию. В начале октября он уже приступал к чтению университетского курса... она не решилась спросить какого, из опасения выдать свое невежество и, следовательно, безразличие — с кем пускаться в дальнее и сомнительное путешествие.

— Знаете, где меня только не носило, а никогда еще не бывала в вашей стране... — завела она наводящий разговор. — Простите, вы постоянно в самом Лондоне работаете или больше в разъездах? Говорят, в этом городе только дым да камень и ни капельки души... неужели верно это?

Неизвестно, в отношении всех проявлял подобную терпимость мистер Пикеринг или как раз в те сутки находился в столь отменном настроении. О, конечно, у Евгении Ивановны сложилось бы иное мнение о британской столице, если бы ему самому довелось показать город своей собеседнице... На пробу он перечислил некоторые заложенные там опорные глыбы, на которых покоится один из углов всечеловеческой культуры.

— О, я с большим интересом побывала бы в Лондоне... если только можно, — не без достоинства, но с замирающим сердцем сказала Женя. — Правда, я и сама читала о нем в старых журналах, а кое-что мне рассказывал покойный отец.

— Бывал в Англии?... по личным впечатлениям?

Женя облизала пересохшие губы.

— Да... только не по своим. У него дядя с материнской стороны служил матросом на одном корабле. Только уж давно, я его не застала на свете. — Вдруг вспомнилось наставление матери, что чем приманчивей капкан, тем острее зубья, и она ужаснулась тому, с какой неотвратимой быстротой отодвигался, погружался в ночь берег. — Простите... куда и зачем, вы сказали, мы едем-то сейчас?

— В Месопотамию, читать старые камни... Вот, опять тревога в голосе... что-нибудь не нравится в Месопотамии?

— Нет, отчего же... напротив! — И с надеждой взглянула вверх, в потемневшее небо, откуда на нее смотрели немигающие глаза англичанина.

Сообщение поуспокоило ее, кое-что ей уже известно было про эту страну, например, протекающие в ней реки Тигр и Евфрат. Кроме того, батюшка поминал на уроках закона божьего, что одно время там помещался рай. Оставалось немножечко разведать насчет старых камней.

— Я вижу, вам не терпится хоть что-нибудь узнать обо мне, — поощрительно засмеялся англичанин, — задавайте же смелей свои вопросы! Правду сказать, отсутствие у вас интереса к моей профессии, моей семье, склонностям моим как вашего шефа... — он замялся, — я поочередно относил за счет вашего такта, проницательности, начитанности, трудной судьбы, наконец. Согласитесь, только верный друг способен столькими

способами извинить нелюбознательность спутника к его особе, не правда ли? Мне хочется облегчить вам эту задачу... Конечно, вы давно догадались, что я археолог. Кроме писания довольно объемистых книг о вчерашнем, чего уж нет на свете, я вдобавок читаю лекции тем, кому предстоит продолжать то же самое завтра, чтобы не случилось гибельного перерыва. Прошлое учит настоящее не повторять его несчастий в будущем... как всегда, впрочем, без особого успеха! Видимо, нет ничего сладостней совершения ошибок. Кстати, кафедра у меня не в Лондонском университете, а в Лидсском. Семьи у вашего спутника нет, лишь мать, очень красивая женщина, кстати... но от матери у меня лишь ее ровный характер: по всем прочим данным я пошел в отца. К сожалению, я был слишком молод, когда родился, чтобы выбрать себе родителя по вкусу. — В глазах мистера Пикеринга блеснула искорка юмора, который в его стране нередко применяется для смягчения печали и ценится если не дороже доброго сердца, то, во всяком случае, выше ума. — Признавайтесь теперь, Женни, попадалась вам хоть мельком фамилия Пикеринг?

Евгения Ивановна смущенно созналась, что встречала это слово в метро, на рекламных плакатах не то зубной пасты, не то спортивных принадлежностей.

— О, все варианты одинаково возможны, — добродушно подтвердил англичанин. — У нас в Йоркшире можно сделать универсальный набор Пикерингов всевозможных отраслей и профессий... Однако свежее к ночи, вы еще не озябли?

Подавленная своим невежеством, Евгения Ивановна не расслышала вопроса. Между тем всего год назад это отличное имя целую неделю не сходило с газетных полос в связи с нашумевшими раскопками в Ниневии, приоткрывшими тайну ее соперничества с Вавилоном. Суровые, отмеченные разящей злободневностью размышления ученого о падении тогдашних общественных нравов в Ассирии, как признаке начинающегося упадка, газеты связывали с его общеизвестной подверженностью левым взглядам, даже несколько московской окраски... но Евгения Ивановна в тот период зачитывалась главным образом объявлениями по найму рабочей силы. Мистеру Пикерингу пришлось самому доложить ей о своих открытиях. Обласканная доверием, Евгения Ивановна призналась, что девочкой у себя на родине она тоже обожала школьные походы по историческим окрестностям, однако, сколько ни копались девчата в одном там кургане, кроме того в оползнях на тамошней речке, так ничего стоящего и не нашли. Археологию Евгения Ивановна понимала как кладоискательство без корыстной цели. Профессор нестрого отметил, что такое, хотя и смелое, но не совсем точное и не потому только, что слишком краткое, определение его науки устарело по меньшей мере на полторы тысячи лет. В связи с этим он бегло очертил содержание археологии от ее истоков до поры, когда в отмену своего первичного, еще платоновского обозначения она стала лопатой истории. По существу, та ночная беседа на палубе велась совсем о другом, мнимая ее ученость служила маской и поводом для сближенья. Оказалось, собеседница мистера Пикеринга тоже увлекалась мифологией, даже составляла с одним там, умершим теперь человеком, почти родственником, шутовское родословное дерево эллинских богов и боженят. И вдруг в погоне за расположением шефа Евгения Ивановна вспомнила особо полюбившееся ей потопление фараона с его колесницами, который, помнится, отстегал море цепями за дерзость глупой рыбы, проглотившей его царственный перстень...

Приблизительно в таком роде получилось у Евгении Ивановны, и было ясно из наступившего молчания, что своим сообщением она не завоевала у мистера Пикеринга дополнительных симпатий. Наклонясь, некоторое время англичанин рассматривал невидную воду за бортом, затем спрятал в футляр бинокль, запотевший от ночного тумана.

— Несомненно, Женни, вы изобрели очень экономную и своеобразную мнемоническую систему... хранить исторические сведения в таком концентрированном виде. Но нам, археологам, доставляет много хлопот этот способ контаминации, к которому обычно прибегают природа и время... Я имею в виду чрезмерное уплотнение сокровищ... не затем ли, чтоб их уместилось возможно больше в том же объеме? —

ворчливо поправился он. — Впрочем, я утомил вас своими рассказами, Женни. И холодно. И все разошлись давно. Время и нам спускаться вниз, пожалуй.

— Вы думаете... пора? — испугалась Евгения Ивановна, суматошно ища повод задержаться на опустевшей палубе. — Но зачем, зачем?

— Ну, если вы считаете это совместимым со званием секретаря научной экспедиции, то... спать, пожалуй! — зловеще пошутил англичанин.

— Давайте лучше постоим еще немножко. В общем, ночь довольно теплая...

Томительные, с новой силой, подозрения охватили ее при воспоминании о квартирной хозяйке, которая из жалости к миловидной жиличке все бралась устроить Евгению Ивановну в тот вполне благопристойный загородный пансион, где клиенты не травмируют девушек очным выбором, а приглашают по альбому и увозят в длительные поездки на оплаченный срок, так что каждый сеанс выглядит самостоятельным светским приключением, по-видимому, совсем как это месопотамское путешествие. В ту минуту холодинки бежали у ней по спине, и никакая сила не оторвала бы от поручней ее намертво сомкнувшихся пальцев... Когда же они поослабли, почти неживая Евгения Ивановна спустилась с англичанином по лестнице — но не потому, что соглашалась на хозяйкин омут, а из возникшей вдруг жгучей потребности последний разок довериться на пробу еще одному человеку и — судьбе. Их каюты оказались в разных концах коридора.

Оставшись наедине с собой, Евгения Ивановна разрыдалась от неполной, несытной пока уверенности, что теперь-то уж не погонят ее, все метлой да метлой, в одну там, позади оставшуюся щель, к Анюте.

Нет для души целительней лекарства, как слушать лепет волны за бортом да глядеть бездумно на косые паруса вдаль, что, нажравшись ветра, подобно сытым коням, лоснятся на полдневном солнце и влекут рыбацкие суденышки по белым гребешкам. «О, если бы каким-нибудь попутным несчастливецом отсрочить неминуемую расплату с судьбой!» — маялась и горевала в те дни Евгения Ивановна, все более ужасаясь участвующимся радостям бытия. Всякая мелочь пьянила ее сейчас, как тот ром натошак, который однажды, сам навеселе, притащил домой покойный муж и, насильно приставляя к губам, уговаривал свою заплаканную Женюку хлебнуть из горлышка для забвенья. Кстати, за время рейса до Александрии, нередко в присутствии шефа, он не раз мнил ей на палубе, мертвый Стратонов, искоса следил за покинутой женщиной, из нее самой следил — скорее грустными, чем ревнивыми глазами. «Ах, Гога, Гога, — пряча мысли, журила его за малодушие Евгения Ивановна, — жизнь такая чудесная вокруг, зачем ты сдался так рано?» Однако она не затем его журила, чтобы воскресить на новую совместную голодовку, а подкупить стремилась великодушием невинности на случай, если бы тот по свойственному мертвым коварству вздумал воротиться на все еще принадлежащее ему место. Она так устала от нищеты и необходимости подбирать наименее болезненный способ вырваться в небытие из этой чертовой ловушки!..

В Месопотамию можно было проехать дешевле и короче, но англичанину непременно хотелось за время каникул посетить друзей под Фивами; египтологию он втайне считал своим главным и несостоявшимся призванием. Уже полгода в печати то и дело появлялись сенсационные сообщения о раскопанном близ Луксора царском погребении Амарнской эпохи. Археолога влекло взглянуть на единственную в своем роде находку, затмившую его собственный ниневийский клад, и поздравить отныне знаменитого коллегу с поразительной удачей научного предвидения. Гробница Тутанхамона помогла Евгении Ивановне глубже понять источник ненасытного археологического азарта. И тут ее потянуло вообще всмотреться в прошлое людей, повзрослому постигнуть путаный закон расцвета и падения цивилизаций. Всю дальнейшую дорогу профессор посвящал свою спутницу в сокровенные судьбы попутных стран. Держась распространенного мнения, что время — лучшее лекарство, он, в сущности, читал Жене курс вечности, как будто сердце сможет примириться с печалью, если разум удостоверится в ее обычности.

Так под видом занимательных новелл была пройдена часть университетского курса по истории Эллады, раннего христианства и Левантинского побережья, куда из Египта лежал теперь их путь.

Слава Пикеринга, литератора и лектора, не уступала его известности искателя сокровищ, а ему всегда зловеще везло как в поисках их, так и в азартных играх вообще. Одна его лекция о мумифицированной пчеле из погребального венка принцессы Аменердис, полная эрудиции и поэтического блеска, обошла все школьные хрестоматии Запада, потому что знакомила с Египтом двадцать пятой династии полнее иной многотомной монографии.

Но, пожалуй, ни в одной аудитории не выступал он с равной проникновенностью, как на этих уединенных семинарах перед длинношеей застенчивой шатенкой с голубыми глазами и детскими ресницами. Всякий раз Евгения Ивановна испытывала потрясение свидетеля на этих сеансах ясновидения, в течение которых перед нею рождались и рушились великие царства Востока. Подстегнутые столетья проносились, как в кино, где сошел с ума механик, причем не утрачивалась ни одна из тех вечно живых мимолетных мелочей, что трепетным теплом согревают мрамор архаических обломков. Как иные подносят рифмы и цветы, мистер Пикеринг дарил любимой женщине воскрешенные миры, лишь бы коснулась их рассеянной улыбкой... Между делом он довольно правдоподобно объяснил спутнице, будто нарочно отбился от своей месопотамской экспедиции, чтобы предоставить самостоятельность одному из любимых учеников, и якобы ему пришлось немало побороться с собой, прежде чем преодолел понятную ревность к молодой смене.

— В моем возрасте следует торопиться... Вот уже закат, а ничего пока не сделано из задуманного, ради чего стоило влезать в мою стеснительно-грустную оболочку.

Стремясь окончательно увести молодую женщину от гнавшихся за нею призраков, англичанин требовал от Евгении Ивановны ежедневной, порою изнурительной работы. Ей пришлось вести путевой дневник, документированный множеством фотографий и зарисовок с архитектурных памятников, хотя изображения их продавались всюду, наравне с табаком и прохладительными напитками. Сирийское небо пылало вокруг, местная одежда и дымчатые очки не защищали от ослепительного зноя: при диафрагме восемнадцать хватало тысячной. И чуть не каждую ночь Евгении Ивановне снился игрушечный, с мальвами, садик на севере, где на грядках возится с помидорами мать, и воротившаяся из-за границы дочка торопится обнять ее, прежде чем закопают старушку, но у калитки уже стоит, не уходит, еще не посторонний, однако нежелательный теперь человек, то плачущий, то пьяный, то с рукой на перевязи, разный, и мешает, мучит, не сводит глаз с колечка волос на затылке у Евгении Ивановны, куда при жизни так любил целовать.

От Яффы длинные, голубого рифленого серебра автокары понесли путников, всех троих, на север вдоль древних караванных дорог. Усыпляемая журчаньем мотора, Евгения Ивановна сидела у окна щекой к щекотной шелковой занавеске. Мимо нее струились меловые видения развалин, овечьи отары, водоносы и феллахи на осликах, полусохранившийся замок крестоносцев, если верить подсказке Пикеринга, и другие остатки когда-то возникавших в пустыне и растаявших миражей, караваны тюков с шерстью, мусульманские кладбища с каменными чалмами на могильных столбах, ленистое колесо с глиняными черпаками для подъема воды на поля нищих и еще там что-то... Все это она различала сквозь тягучую дрему, сквозь песчаную поземку за окном, сквозь смутный и неотступный, как бельмо, силуэт Стратонова. Преследование стало бы невыносимым, если бы не благодетельная звезда надежды, сопровождавшая путешественников, видная везде: и на кротком вечернем горизонте, и в зрачке дервиша, просившего бакшиш на привале, и в проеме римской руины, на которую ходили взглянуть, пока машина заправлялась горючим. В пепельной дымке проплывали мимо



именитые города побережья, когда-то, по выражению мистера Пикеринга, факелами пылавшие в истории Востока. Если останавливались в Дамаске послушать классический благовест муэдзина с мечети Омайядов, нельзя стало миновать и Пальмиру — примерное, выветрившееся, без единой пальмы зрелище былой славы и разрушения. Ученый араб из местного музея с наружностью маронитского патриарха из-за круглой шапки и живописной хламиды, под которой мелко-мелко ступали старенькие европейские башмаки, водил гостей среди бывших некрополей, алтарей и акведуков. Узловатые сухожилия плюща взбегали кое-где на уцелевшие колонны, впиваясь в завитки капителей; ползучая роза, вся в цвету от корня, царапалась с ним из-за места. Старик ни кирпича не пропускал без пояснения, благоговение боролось с дремотой. В конце концов, все это уже не годилось ни на что, кроме как для элегического услаждения туристов... Однако, если вначале эти безличные нагромождения камня вызывали у Евгении Ивановны лишь скуку, постепенно она обучалась находить в них опознавательные приметы возраста, стиля, национального почерка, религиозной принадлежности.

Прежде чем воротиться в настоящее, все четверо сидели на обломках в тишине, нарушаемой лишь таинственным шуршанием в листве. Суховойнный вихрь, сирийский шмук, легонько задувал с востока, выводя на флейтах каменных щелей какой-то дикий курдский реквием. Грязно-желтое на льва с черной гривой похожее облако вторгалось в небесную синеву, застилая вдаль, если не обманывала память, отроги Антиливанского хребта.

— Какая тут злая, беспокойная пыль!.. — сказала однажды Евгения Ивановна, прикрывая рот концом голубого, со шляпы, газового шарфа. — Русский крещенский мороз кажется озорным, добродушным дедом в сравнение с нею...

— Не браните ее, Женни, — отвечал англичанин, заглушаемый поднявшимся вокруг скрежетом песчинок. — Перед вами глиняный пепел библейских царств. Он помнит слишком много, чтобы остыть, примириться, предаться заслуженному забвению...

По-русски мистер Пикеринг говорил со смешными оговорками, из которых Евгения Ивановна в тот раз не заметила ни одной. Он размышлял вслух о гигантских сгустках неистовой человеческой плазмы, которая непрерывно, в течение столетий возникала из этой почвы ради единственной, в сущности, цели — грудью в грудь сшибиться с ордами других наречий, пронзить друг друга мечами во имя демонов, в те времена владевших миром, и безжалобно раствориться все в той же песчаной поземке. С тех пор, по заключению Пикеринга, большая зола мучается и мечется в поисках прежних сочетаний, когда она была локоном красавицы, горлом певчей птицы, лепестком шафрана.

— Не слишком красиво у меня получается? — смутился он пристального взгляда Евгении Ивановны.

— Еще! — шепнула она, кивая на ящерицу, ровесницу развалин, прибежавшую послушать, и касаясь его руки. — Только не волнуйтесь так...

— Вот, все они ушли, но они по-прежнему тут! — И горсть взятого из-под ног праха дымными струйками пролилась сквозь неплотно сомкнутые пальцы. — Ничто не пропало... в истории и биологии — как в армии: при увольнении в запас имущество сдается в цейхгауз. Жалейте их, Женни... не ропщите на него, прах прежней жизни, за то, что он ластится и льнет к живым.

По привычке он закончил лекцию перечислением сект, династий, деспотов и прочих исторических жерновов, помогавших превращению руд, плодов, костей и драгоценностей в нынешние частицы пылевого помола.

Путешественники на целую неделю задержались в Дамаске. Арабский друг, как заветную шкатулку, раскрыл гостям свой город, который до него так любили Магомет, Моавия и Саладин. Иногда они забредали в кофейню местного армянина, — нигде в мире не умели готовить такого кофе. Туда надо было пробираться по загадочным проулкам, пахнувшим бараниной и миндалем. Фонтанчик плескался в мозаичной чаше посреди внутреннего двора, и шипела на патефоне модная в послевоенные годы Аллилуйя,

иногда оглашаемая собачьим визгом.

Через равные промежутки времени хозяин ударом ноги под стойкой вышибал за порог бродячую собаку, ронявшую его заведение в глазах иностранцев..

— Не узнаю своего доброго наставника, — с шутливой лаской как-то раз заметила Евгения Ивановна. — Сегодня за всю прогулку вы не обронили ни слова. Надоела самая бесталанная из его учениц?

— Напротив, я весь день скучал без вас. Вы провели его с кем-то другим... упрекали его, звали, но гнали, когда он приходил. Видимо, он дурной человек?

Евгения Ивановна опустила глаза в смятении:

— Нет, он просто несчастный и мертвый. Мне не хотелось бы сказать о нем дурное...

— О, я не интересуюсь знакомыми моих служащих.

Эта мимолетная ревность стала поводом поделиться с мистером Пикерингом повестью своей жизни. Евгения Ивановна не утаила ничего, кроме фамилии мертвеца, и, примечательно, с той поры Стратонов, точно устыдясь, перестал навещать свою бывшую жену. В последний раз он напомнил о себе в одном живописном оазисе близ Дамаска — что-то вроде Эль-Джуд, но еще верней — Гамиз, куда путешественников пригласили на местные скачки.

Ничто из того дня не удержалось в памяти Евгении Ивановны: ни слепящее синевую небо, ни гортанные возгласы ценителей конного спорта. Ее вернули к действительности только коснувшийся ноздрей запах пота с лоснящихся лошадиных боков да вдруг появившийся хруст песчинок на зубах, когда по сигналу крючковатого насупленного шейха туча всадников в полосатых развевающихся бурнусах ринулась с воинственным кличем на воображаемого врага. Они мчались мимо, стоя в стремях и стреляя на полном скаку в знак серьезности осуществляемого мероприятия. Слезы благодарности богу и людям набежали на глаза Евгении Ивановны, естественная разрядка томительных лет нужды, унижений и страха. Все кругом, казалось ей, разделяло с нею восторг существования, даже калека с волосатым зобом, развинченной походкой проковылявший через беговую дорожку, даже прирученный, с такою надменной головкой сокол на жердочке позади хозяина. Мысли покинули Евгению Ивановну, кроме одной — «так сколько же, сколько еще в запасе осталось у меня?». И все вычитала свои двадцать четыре из возможного срока человеческой жизни. Наступало выздоровление от прошлого, и тогда Стратонов вышел из ее сердца, но так небрежно, что она повалилась бы от боли, если бы не подоспевшая рука мистера Пикеринга. И потом англичанин тискал под скамьей ее похолодавшие пальцы, пока ледышки не оттаяли в его ладони. Евгения Ивановна поблагодарила его долгим влажным взглядом... В ту же ночь бывший муж в последний раз привиделся ей во сне.

Как бы полночь и непроходимые ущелья вокруг, но ни скал не видно, ни даже собственной ноги на тропочке, ничего. Тоскливая тревожность подсказывает, что это не простое ущелье, а пограничное, с громадной, по ту сторону ночи, Россией. Где-то здесь прячется Стратонов, и тотчас какое-то загадочное, щекотное любопытство: что он поделявает в подобной мгле? И надо это срочно разузнать, пока не поздно. Ах, вот и он, чуть не наступила, у самых ног лежит на скате, откинувшись затылком в русло пересохшего ручья. Значит, вовсе не в африканском легионе, а именно здесь застрелили его при самовольной попытке вернуться без дозволения на родину... но почему-то Евгения Ивановна уже не верит лжецу. Оскользаясь па гальке, она будто случайно, в поисках брода, обходит лежащего, а сама все ищет искоса полагающихся на мертвом дырочек от пуль, а их нет. Собственно, и чернеет что-то во лбу, но так страшно нагнуться, пальчиком убедиться для верности: вдруг схватит!.. Тогда раскрывается, что Стратонов не полностью убитый лежит, а вовсе наоборот, лежит и холодно, безжалостно подсматривает

за бывшей женой из-под приспущенного дрожащего века... И так застыла от ледяного ужаса при пробуждении, что, как была полунагая из-за жары, Евгения Ивановна вбежала в смежную комнату и, нырнув за марлевый полог к мистеру Пикерингу, искала у него защиты и тепла.

Сбывалась затаенная мечта англичанина, но вначале он и прикоснуться не смел к любимой, не без основания считая себя лишь заключительным звеном в цепи ее несчастий. Когда же миновал естественный паралич благоговения, дело у них пошло веселей. Час спустя Евгения Ивановна увидела в лунном свете свои голые ноги и с грешным смехом потянулась за сбившейся на пол простыней. Возникшие между ними в ту ночь отношения с переменным успехом развивались дальше и юридически закрепились приблизительно месяц спустя после переезда турецкой границы. Первая же неделя супружества открыла Евгении Ивановне пугающие преимущества ее нового положения.

За лоскуток бумаги из чековой книжки разрешалось унести любую вещь с витрины, десятки рук с услугами наперебой тянулись отовсюду... Кроме того, больше не нужно было примериваться каждую ночь, каждую ночь, как побезбольнее уйти из мира.

Турецкая часть путешествия пролегла через крайнюю глухомань, с непременно посещением исторически примечательных пунктов, куда путешественники добирались в трясучих, пыточного типа повозках, ташабарасах, и где их ждали непропеченные лепешки юффка с горстью козьего сыра на обед. Везде приезд молодоженов сопровождался легким изумлением. Получалось даже: нет подходящего места на земле, где англичанин без помех, без насмешливых глаз в замочной скважине, смог бы заняться своим счастьем.

Свадебный маршрут мистера Пикеринга, по большей части инкогнито и зигзагами, напоминал классическое кинобегство сквозь комические препятствия, точно вся Европа с фотоаппаратами и биноклями гналась следом. Например, за неполные три недели, оставшиеся им до главных приключений поездки, Пикеринги последовательно посетили развалины трех хеттских крепостей, даже раскопки в Богазкёи, где под адским солнцем энтузиасты просеивали сквозь сита бывшую столицу хеттской империи в надежде заполучить хоть табличку с надписью... Словно не узнавая мест былого величия, громадные орлы кружили над зарослями дрока и глыбами грубо отесанного базальта. На них, рядом с еле заметными, на пределе исчезания, богами Востока угадывались такие же, истончившиеся до царапин заповеди их, и, стоя перед ними, Евгения Ивановна познавала первооткрывательское нетерпенье, мучительное и сладостное. По всем признакам, англичанин нашел себе подругу жизни в наилучшем для ученого сочетании с преданной ассистенткой... Полмесяца спустя молодая чета ночевала уже в Урфе, древней Эдессе, о существовании которой Евгения Ивановна узнала лишь по прибытии на место. Ученого привлекали сюда прочные научные интересы, а в силу некоторых личных соображений он одно время едва было не поселился здесь на десяток-другой лет. В первой же загородной прогулке англичанин показал жене давно облюбованные точки, где при согласии турецкого правительства он рассчитывал разыскать ключевые документы буквально ко всем эпохам этой выдающейся переднеазиатской цитадели, некрополя многих времен и народов. По словам ученого, здесь, на сравнительно тесном манеже, тысячелетья сряду все грудью сражалось со всем: юная европейская цивилизация с отступающей пустыней, Восток с Западом, хетты с хурритами, римские орлы с персидскими львами, архиепископы с ересиархами, а могущественный Велиар со здешними, в поясах из древесных ветвей, отшельниками, досаждавшими ему хуже летучей мошкары. Апостол Фома уходил отсюда на миссионерский подвиг, и три века спустя сам Ефрем Сирийский в городских воротах с клиром встречал прах его, сторицей оплатившего свой минутный скептицизм... А в промежутках каратели Траяна долга разрушат этот город, который восстановит Адриан, префект Макрин заколет здесь Каракаллу, чтобы самому пасть от меча сирийского юноши с еще более отвратительной судьбой, и, наконец, всемирно-историческая деятельность римских императоров в Малой Азии завершится пленением Валериана, со спины которого высокомерный Сапор станет отныне садиться на коня. А во

тьме времен уже стоят наготове, чтоб обрушиться на Эдессу, монголы, землетрясения, крестоносцы и чума...

— Старухе есть что вспомнить в бессонную ночь. Всем она насладились, и все насладились ею... — завершил свою лекцию англичанин. — Словом, завтра, Женни, вы станете окончательно миссис Пикеринг, и мне хочется верить, что когда-нибудь бракосочетание наше будет отмечено здешним летописцем как одно из наиболее отрядных событий местной истории.

День целиком ушел на осмотр сохранившихся памятников; на обратном пути от Немвродовых развалин постояли у оплывших каменных карьеров, где, по догадке мистера Пикеринга, когда-то резвились радужные рыбки богини Атергатис. Вечером будущие супруги отдыхали в прохладном садике приютившего их британского миссионера. Среди крохотных джунглей с лакированной растительностью ворчала бегущая вода, точно несла в себе клекот горных птиц, и перекликались туземные сверчки с кривыми саблями из-под плащей на красной подкладке. Евгения Ивановна пряталась в тени, потому что солнце палило с утра, сам же Пикеринг, по его странному обыкновению, отважно сидел лицом к своей даме на полном припеке.

— Значит, не раскаиваетесь, Женни, что разделили со мной эту экспедицию за счастьем? — спросил он, любуясь ее загаром, цветом волос и всем прочим, что когда-то прельстило и покойного Стратонова.

— О, вы милый... — И ей почти удалась та протяжная интонация, с помощью которой знакомые англичанки выражали свое восхищенье. — Одно меня тревожит: почему всегда вы садитесь против света, с таким пристальным недоверием в глазах?

— Мне хочется прочесть, что вы думаете обо мне, Женни.

— Прежде всего, я думаю, что вы самый красивый на свете...

Он остановил ее прикосновением руки:

— Меня крайне радует, Женни, что вы все более свыкаетесь с моей внешностью. Она со школьной скамьи доставляла мне наибольшее количество огорчений. Есть строка у Теннисона: «Show me the man hath suffer'd more than I...» — в детстве мне казалось, что это про меня... Божественный гончар задумал и осуществил меня, будучи навеселе. Я догадываюсь: дарами памяти и незаурядной научной проницательности, которых во мне не отрицают даже враги, он просто заглазить хотел свой непривлекательный поступок... — Грусть и юмор очень шли мистеру Пикерингу, они придавали его внешности благообразие человечности, которого ему недоставало в силу некоторых посторонних причин. — Опасно строить семью на зыбкой почве одной лишь женской благодарности.

Во избежание непоправимых ошибок, Женни, я и затеял этот разговор до того, как вы бесповоротно станете миссис Пикеринг!

Тогда, краснея и запинаясь, Евгения Ивановна согласилась, что действительно у него несколько своеобразная, а в известных поворотах, пожалуй, и чуть потешная внешность, которую лишь с натяжкой можно назвать красотой. «Ах, боже мой... но ведь красота — это то, что любишь!» — непроизвольно сорвалось с ее губ, к величайшему утешению мистера Пикеринга, который уловил в этом признании не только такт или искренность, но и добрый, неразбуженный ум. Она прибавила, что причисляет англичанина к ангелам-хранителям, тайно проживающим на земле и украшающим ее скорби цветами. Что касается тела, то ведь для ангелов оно не более как маска...

— Не скрою, не все из ангелов, док, одинаково добросовестно относятся к своим опекунским обязанностям!

— Ну, лично я предпочел бы оставаться невидимым, чтобы не наделать заик из своих собственных малюток, — холодно и тускло пошутил мистер Пикеринг, высказав сожаление, что не может таскать постоянную занавеску на лице, как Моканна.

Далее невозможно замалчивать печальнейшее обстоятельство в жизни этого достойнейшего ученого и джентльмена, который в двадцать семь лет уже состоял редактором Анналов, обладая после покойного А. Г. Лейярда наиболее непререкаемым

авторитетом в ассиро-вавилонской археологии. Молодые дыханья замирали в аудитории, едва он начинал свои вдохновенные импровизации... тем не менее первые минуты, от семи до пятнадцати на круг, неизменно уходили на преодоление легкомысленного оживления среди новичков. Причина заключалась во внешности мистера Пикеринга, которая как в отдельных деталях, так и в целом не только отравляла ему личную жизнь, но затрудняла также и его политическую деятельность, внушая публике легкомысленные настроения, несовместимые с доверием избирателей. Мало того, что вследствие отчаянной худобы правая его сторона вопреки законам природы находилась как бы на левой, что, между прочим, вовсе не вязалось с его исключительным, во всякое время суток, аппетитом, самый колорит его лица оставлял желать много лучшего. Нельзя отрицать также, что, при известном освещении, тесно сближенные к переносью глаза мистера Пикеринга прискорбно напоминали двустволку. Некоторые сверх того, лишь из уважения к его учености опущенные здесь несуразности, вроде необычно длинных рук или непомерного его роста, представляли столь благодарный материал для карикатур и острот, что иные верные друзья, джентльмены даже, не лишали себя этого развлечения.

Ученому оставалось, подобно солнцу, ежеминутым блеском слепить толпу, чтоб скрывать от нее свои пятна.

Семьи у мистера Пикеринга не было. Из женщин его дом посещали лишь стряпуха да престарелая, в постоянном трауре, очень строгая и когда-то красивая дама — мать. Их нечастые свидания заключались главным образом в терпеливом созерцании друг друга, с передышками — на огонь в камине. Злые, непритязательные на пищу языки не без оснований и, по крайней мере, наполовину приписывали научные успехи Пикеринга его несчастью, так как, в отличие от многосемейных археологов, вынужденных тратить свой досуг на возню с внуками, этот имел возможность круглосуточно, как вол, заниматься разборкой своих битых черепков, которые ящиками привозил отовсюду... Словом, с годами он все глубже зарывался в прах чужих гробниц, куда не проникали ни солнечный луч, ни детский смех, ни женский зов. И он так мало знал себя с этой интимной стороны, что давняя мечта о наследнике парализовалась скорее страхом непривычки, нежели возрастными сигналами. При его почти мировой известности только опасения стать газетной сенсацией и погнажи мистера Пикеринга с его горькой и поздней любовью в малоазиатское захолустье.

После случайной контузии, полученной при религиозных беспорядках 1906 года в Бенгалии, англичанин страдал жестокими приступами невралгии. В поездке Евгения Ивановна привыкла оказывать ему помощь: замужество почти не прибавило ей забот. Она звала его теперь просто док, по-американски сокращая его научное звание... Смешные страхи быстро рассеялись, боги довольно благожелательно отнеслись к молодоженам.

Содержимое чемоданов четы Пикеринг перетасовалось по соображениям супружеского удобства и дорожной рациональности. В угоду жене обратный маршрут был составлен *via* Константинополь: Евгению Ивановну так и тянуло посидеть еще разок в скверике перед Айя-Софией, где однажды ей так хотелось умереть. И вдруг накануне получения английского паспорта, когда для Евгении Ивановны открывалась дверь в желанное, обеспеченное будущее, независимое в ее положении от страха, голода или чужой низменной воли, она необъяснимо заболела.

По мере продвижения на север все более тускнели в ее глазах волшебные мелочи путешествия, а необузданная радость бытия сменялась холодом томления и одиночества.

Евгения Ивановна зябла и влажными покрасневшими глазами всматривалась в такой недосыгаемый на севере, затянутый сизой дымкой горизонт. Светила турецкой медицины не обнаружили в организме женщины каких-либо угрожающих изменений, однако незримый недуг смывал ее краски и сияние, как фреску со стены. Вместе с загаром сошла свежесть кожи, вслед за погасшей улыбкой омрачились глаза. Спазматическое молчание жены, в которое никак не удавалось пробиться мистеру Пикерингу, пугало его даже сильнее ее физического увядания. В предупреждение нередкого среди русских

изгнанников сумасбродного конца англичанин вопреки своим убеждениям предпринял необходимые розыски.

В секретном уголке дамского несессера нашлось золотое колечко, которого он не дарил.

Осведомленного к тому времени во многом мистера Пикеринга не огорчило также вырезанное во внутреннем ободке мужское, уменьшительное, не его имя, — он знал чье.

Его озадачило другое: каким образом эта маленькая ценность уцелела у Евгении Ивановны в дни хотя бы парижской нищеты, когда вопрос чести и существования решался куском хлеба. В безоблачном небе достигнутого счастья опять возникали знакомые по Дамаску тучки сомнений. Итак, тухлый, воинского звания, молодой русский господин снова повалился с черного хода таскаться к англичанину на дом?

На другой день англичанин случайно застал жену за разглядыванием ветхой, немедленно куда-то исчезнувшей газетки, — однако заплаканного лица своего скрыть от супруга Евгения Ивановна не успела. В ту же ночь, снова как-то мимоходом, он обнаружил наконец за внутренней, оторвавшейся обклейкой чемодана тот загадочный, полуистлевший в складках газетный лист, оказавшийся официальным органом Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, напечатанный, судя по заголовку, в одном из степных русских городов. Находка выдавала мистеру Пикерингу наличие второго, тайного плана в жизни его жены, по счастью, недостаточного для политического преследования в Европе. Все же, если даже пренебречь законным недоумением, через какие руслу провинциальное советское издание всего годичной давности попало в обладание подданной Его величества, возникал не менее уместный вопрос: что могло привлекать беглянку в бурных большевистских филиппиках по адресу благополучно, еще со времен Герцена, согнивающего Запада, предоставившего ей пусть не слишком комфортабельное, зато надежное убежище. Правда, мистер Пикеринг слышал стороной, что иных неисправимых бродяг нередко тяготит затянувшееся благополучие... хотя, если даже и взгрустнулось ей вдруг по свирепым потрясениям, в которых русские двадцатых годов находили сомнительную привлекательность, то какое сердце способно увлечься романтикой эпохи, для которой оно или кирпич, или мишень; по вопросу о бурях мистер Пикеринг держался особого мнения...

Но тогда что именно могло привлекать его любимую женщину в этой стране, откуда вырвалась напропалую, где ни души не осталось у ней в живых и где, по его расчетам, того гляди, новый косоглазый Махно в папахе, как печная труба на избе, помчится в тачанке по обындевелым гулким буеракам? Обладавший даром допрашивать тысячелетние камни, мистер Пикеринг оказался бессилен прочесть скорбную клинопись вокруг детского рта. Секрет заключался в том, что смазанная на последней полосе цинкографическая картинка изображала Базарную площадь в родном городке его жены. И не то привлекало там Евгению Ивановну, что на ней способом субботников предполагалось воздвигнуть всемирный, видимый со всех угнетенных континентов обелиск — маяк Революции, а то неизвестное англичанину обстоятельство, что на заднем плане площади виднелся в профиль мамин домик с мальвами в палисаднике. Кстати, к этому времени через британское посольство в Москве удалось получить известие, что старушка умерла вскоре после разлуки с дочкой... Лишь путем исключения нелепых или оскорбительных гипотез отчаявшийся супруг добился истины. Неохватная громада России лежала по ту сторону гор на горизонте. Она тянула к себе русское сердце даже сквозь толщу Кавказского хребта, не говоря уж о защитной броне горчайших воспоминаний, и, в случае сопротивления, тяги хватило бы вовсе вырвать этот трепетный комочек мяса из груди. В первом же прямом разговоре смятение жены подтвердило мистеру Пикерингу основательность его диагноза.

— Не жалеете меня, милый друг... — отрывисто отвечала Евгения Ивановна, ластясь и смешно наморщивая лоб, чтобы выражением беспомощности купить терпение супруга к надоедливой, чисто русской горести. — Когда бурей срывает с дерева листок, дело

его кончено. Он еще порезвится на воле и окрестность облетит, даже в непривычную высоту подымет, но сгниет все равно раньше остальных, оставшихся в кроне.

Слова ее прозвучали гладко, даже чуть книжно и безоговорочно, как заученные.

— Но самая мысль эта освобождает вас от всяких привязанностей... — неуверенно заметил было Пикеринг.

— От чего, от чего она освобождает? — из любопытства к мышлению европейца прищурилась Евгения Ивановна.

— Я хотел сказать... от обязанностей к дереву, которое без сожаления... ну, отпустило, сбросило вас. Противоестественно любить то, что платит вам ненавистью.

— И вам давно это пришло в голову, док? — чуть высокомерно усмехнулась жена.

— Эта мысль принадлежит Дидро.

Евгения Ивановна пожала плечами:

— Значит, людям большого ума легче, чем нам, маленьким, пускать корешки в чужую почву!

Через неделю мистер Пикеринг как бы мельком попросил совета у жены, соглашаться ли на совпавшее с его поездкой приглашение московских друзей вернуться домой транзитом через Россию. Года два назад на крупном конгрессе он откровенно высказал признательность русским за их дерзкую попытку внести здравый смысл в смертельно запутанные социальные, производственные и нравственные отношения современности.

Чуть позже в научной и, главное, весьма нашумевшей статье он сопричислил Москву к городам-факелам, освещающим тысячелетние переходы на столбовой дороге человечества. Правда, в одном газетном интервью перед самым отъездом в Малую Азию ученый отвел России почетную, хотя незавидную роль горючего, чуть ли не вязанки хвороста, в деле великого переплава одряхлевшего мира, однако советский корреспондент и за это поторопился внести британского археолога в немногочисленный пока актив влиятельных друзей Октябрьской революции. Так объяснялось почти немедленное получение советских виз с небывалым в интуристской практике тех лет дозволением въезда через Закавказье.

Жена с молчаливой признательностью положила свои ладони на плечи мистера Пикеринга, — как он любил ее несколько крупные, милосердные руки!

— Вы у меня могучий и прозорливый ифрит из арабских сказок, док, — сказала она потом. — Обещаю вам, что вы ни на секунду не опоздаете к началу своих лекций. Мы даже не станем выходить из вагона: только часок, от поезда до поезда, погуляем в одном глухом городишке за Ростовом... хотя там и для вашего обозрения нашлись бы нераскопанные курганы. Так не сердитесь же, я сделана из этой земли, милый!

В сущности, Евгения Ивановна и ехала-то в Россию отпроситься на волю, чтоб не томила больше ночными зовами, отпустила бы ее, беглую, вовсе бесполезную теперь. Конечно, лучше бы поехать туда летом, чтобы хорошенько, на память, промокнуть в степной грозе... хотя неплохо было бы и просто намерзнуться досыта на опушке зимней рощицы, вслушиваясь в отфильтрованную снегопадом тишину. С не меньшей силой манила Евгению Ивановну и степная весна: посидеть на Пасху у родительских могилок, пестрых от яичной скорлупы, пошептаться с мамой под надсадный и утешный крик грачей. И если на осень выпадало счастье, Евгения Ивановна решила истратить отпущенный часок на прогулку по аллее старых акаций, брести и слушать сухой звонкий сор палой листвы под ногами... Дорога вела мимо мамина домика, и можно было узнать заодно — жив ли Трезорка, сохранились ли часы с кукушкой и кто спит на сундуке за ширмой, в задней проходной.

В отмену строжайших распорядков именитые гости были впущены почти прямолинейным маршрутом из Карса через Сакал-Тутанский перевал... Торопились засветло пересечь границу. К сумеркам погода переменилась. Тучи над головой бежали в

Турцию. Возле горного озера, подернутого рябью начинающегося дождя, путешественники перегрузились в открытую машину со следами долгой и героически прожитой жизни. На пустыре у Карзахи босые ребята самоотверженно футболили дырявый чайник, но все звуки поглощало благодное и, вопреки непогоде, розоватое безмолвие вечера.

Похудевшая за один последний час Евгения Ивановна все тискала в сумочке новый паспорт, охранную грамоту от случайностей родины. Переступала ее порог робкая, торжественная: Храм. За дорогу пропиталась запахом трав, сама стала как сухая трава: казалось — вспыхнет веселым трескучим огнем, стоит спичку поднести. Вместо ожидаемых досмотров и томительных формальностей здешний библиотекарь, если только не агроном, поднес знатной иностранке букет. Она одна стояла под зонтом, остальные просто так, и все глядели на Евгению Ивановну со значением, которого она не могла пока распознать. Оратор поздравил знаменитого архитектора со вступлением на порог завтрашнего мира, — происшедшая по вине телеграфа обмолвка содействовала веселому сближению сторон... До самого Тифлиса приезжих сопровождали знаки внимания в виде интересных напитков, изобильной пищи, также ковров для состоявшегося в Ахалцихе ночлега и, наконец, разнообразных культурных развлечений. Так, несмотря на запоздалое прибытие в город, гостям был тотчас показан слон под управлением Корнилова и произведена вступительная, полуудачная попытка уложить англичанина на тостах мирового значения. Все текло приятно и без ложного стеснения, даже пропажа бельевого чемодана, который, как положено в благоустроенных государствах, скоро нашелся со вложением предмета, не принадлежавшего лично супругам Пикеринг. Всю дорогу Евгения Ивановна жадно впитывала каждый штрих и шорох: голые и пустынные склоны пограничного нагорья, волшебный замок у Хертиписи и за Боржомом — тяжелые хвойные леса, гулкие ущелья со сбегаящими на шоссе ручейками и наконец-то показавшиеся вдали за очередным перевалом снеговые, чуть размытые в осенней дымке грани Главного Кавказского хребта. Дважды суровым и влажным холодом дохнуло в лицо, и тогда Евгения Ивановна заторопилась, пока оставалось время до въезда в грузинскую столицу, осознать существовавшие с нею перемены.

В Тифлисе они тоже очень удачно подоспели на гастроль популярной, еще петербургской примадонны, которая уже полтора поколения сряду держала знатоков в напряжении посредством своего густого неторопливого сопрано... Удовольствие начиналось в восемь, и после краткого отдыха, по дороге на концерт, гости спустились в контору гостиницы для уточнения дальнейшей программы. В кабинете директора их ждали здешние начальники, собравшиеся приветствовать новоприбывших друзей прекрасной Грузии. С глубоким вздохом Евгения Ивановна вступила в нарядное, сплошь в теплых гардинах помещение, обставленное отборными предметами уюта и комфорта из мебели покойной буржуазии.

— Хахулия! — гортанно и певуче назвал из-за необъятного стола начальник в зеленом кителе, протягивая столь же внушительную ладонь и предоставляя догадываться о значении произнесенного слова, а все остальные покрякали и с достоинством погладили усы, у кого были.

Беседа завязалась о превратностях путешествий в послевоенное время, и между прочим, внимание обоих Пикерингов одновременно привлекла картина в простенке, исполненная способом не столько мастерства, как задушевной искренности. Из художественной рамы на приезжих глядел моложавый старик в черной войлочной шапочке; с рогом вина в руке он блаженно полулежал под сенью виноградных гроздей, и закат пылал позади, точно распороли бурдюк жидкого пламени.

— Перед вами наша солнечная Кахетия, — польщенный вниманием столь уважаемых лиц, пояснил главный начальник... — По утверждению виднейших профессоров медицины, наиболее благоприятное место в климатическом отношении... Итак, решено, начинаем ваш путь с Алазанской долины, исключительно чтобы вы не



забыли сердечную грузинскую дружбу и любовь! — закончил он, и тотчас же все остальные в поддержку старшего товарища принялись наперебой и с пояснительными жестами сообщать мистеру Пикерингу дополнительные сведения о целебном воздухе, нешелохнутой тишине и прочих привлекательных качествах этого чудеснейшего на земном шаре уголка.

Зная ее планы и намерения, англичанин вопросительно взглянул на жену, а та, счастливая и раскрасневшаяся, уже уступила под натиском столь жаркого гостеприимства. В самом деле, заезд в Кахетию давал ей время до наступления чего-то главного и совсем придвинувшегося додумать все то, чего из-за тряски или волнения так и не успела в дороге; неуверенный наклон головы был встречен единогласным одобрением хозяев.

Хахулия обещал прикрепить к приезжим наилучшего на всем Кавказе гида с французским языком и прокричал в телефон тревожно знакомую фамилию, утонувшую в фейерверке грузинских слов. Спустя короткое время, в течение которого Евгения Ивановна старалась не потерять сознание, в кабинет за ее спиной вошел живой Стратонов. Она узнала его в зеркале по знакомой рыжеватой, на резинке, вельветовой куртке и таким же поношенным штанам, заправленным в помрачительно начищенные, тоже константинопольской поры краги. Загадочные ремешки и кольца на поясе гида отвлекали внимание в сторону, полевая сумка свисала через плечо; эту придуманную маску бывалого альпиниста завершали горные башмаки на двойной стоптанной подошве. Чтобы не утомлять пустяками, директор не счел нужным представить гида именитым туристам; да тот и сам почти не взглянул на них... Но вот при обсуждении маршрута Евгения Ивановна помогла мужу перевести не дававшийся ему русский оборот. При звуке ее голоса Стратонов вскинул глаза ей в затылок, и на мгновение у него стало такое лицо, словно наискозь полоснули хлыстом. Можно было думать, что, захлебнувшись чем-то, он умрет сейчас.

Евгения Ивановна искоса видела в зеркале, как, чуть оправившись от замешательства, он потерянно искал себе место сесть, чтобы не стоять одному из всех, но свободное кресло было занято плащами гостей. Он тогда с независимым видом прислонился к притолоке двери.

— Не торопись помирать, кавалер, живи веселей... — по-хозяйски и вполне дружественно окликнул его Хахулия. — Ай-ай, закаленный такой вояка, а выглядывает, как балной бабушка. Прощу дорогих гостей смотреть товар лицом!

Не было ничего обидного в этом тоне шутки и снисхождения к поскользнувшемуся человеку, да и Стратонов всем видом своим выражал готовность оправдать доверие.

Требовалось согласие Евгении Ивановны, она утвердительно кивнула головой. Нечего было страшиться неприличной фамильярности со стороны бывшего мужа: битый и меченый, он слишком прочно лежал на земле, чтобы ссориться с влиятельным другом неокрепшего Советского государства. Кроме того, в поездке представлялся удобный случай вернуть Стратонову его дареное колечко, которое по необъяснимому чутью сберегла ради этой встречи. Выезд назначался на завтра... Нет, у нее решительно не имелось никаких основательных доводов отказываться от стратоновских услуг. И тогда под видом комплимента знанию языка, а на деле пытаясь условиться об отношениях в предстоящей поездке, Стратонов по-французски осведомился у Евгении Ивановны, бывала ли миссис Пикеринг в России раньше. Евгения Ивановна воспользовалась правом иностранки не отвечать на слишком частые и нескромные анкеты этой страны.

За время переезда в Кахетию Стратонов держался французской речи с целью не доставлять англичанину ревнивых размышлений. Теперь же, в разговоре наедине, в ночном цинандальском парке, французское обращение Стратонова, конечно, объяснялось лишь страстным желанием остаться неузнанным до конца. То было явное моление о пощаде... Внезапно грохот разрушения, потрясавший алазанскую ночь, прекратился во

мраке позади них: видимо, шофер успешно закончил взлом намеченной двери. Кто-то шел навстречу, фонарь качался в руке, попеременно освещались ноги в толстых хевсурских носках.

— Мы можем войти в дом, человек достучался. Угодно вам протянуть мне руку, миссис Пикеринг?

Звучавший из отдаления голос Стратонова заметно приблизился. Кажется, гид рассчитывал, что все завершится в потемках и без свидетелей. Однако Евгения Ивановна изменила первоначальное намерение вряд ли из одного только опасения промахнуться по темноте. Кроме того, такая опасная тишина наступала к полуночи в Алазанской долине, что самая затаенная мысль немедля становилась слышной.

Ночью произошла суматоха. Англичанину потребовались припарки, но горячей соды не удалось добыть. Суровый быт нового мира был далек от роскоши. В шкафчике отыскался пузырек с высохшими каплями датского короля в столь же царственного происхождения окаменелые порошки, сохранившиеся от прежних владельцев Циндандальского дворца.

Пришлось ограничиться втиранием смягчительных средств, на что ушла половина ночи.

Припадки проходили внезапно, как и наступали, без последствий.

Евгении Ивановна проснулась близ полудня. Заспанным взором она обвела обитые малиновым штофом стены, которых не рассмотрела ночью при свече. Спальня больше смахивала на запущенный тронный зал небогатого монарха, но все искупала зеленоватая парковая свежесть, что врывалась сюда, в душные сумерки, с открытой террасы. У запахнутой наружу двери, в халате и с томиком оксфордского издания в руке, сидел выздоровевший муж, какой-то в особенности длинный в то утро и, почудилось спросонья, закрутив ноги одна вокруг другой.

Женщина потянулась с блаженным сознанием, что лишения молодости не приблизили огорчений старости. Она чувствовала себя новорожденной в этой обширной, со ступеньками и балдахинном, квадратной кровати, сооруженной для неистовств неизвестного властелина. Жизнь Евгении Ивановны едва началась, вечность впереди лежала нерастраченной. Сладкое онемение держалось в теле, касаться его атласистой поверхности доставляло наслаждение ей самой. Нежась и смежая веки, она забавлялась тем, как расплывается ее супруг в стрелчатом световом пятне. Вдруг представилось, что в нижнем этаже, прямо под нею, с папироской в зубах лежит на тахте Стратонов и нагло смотрит на нее, нагуо, сквозь ковер, простыни и потолок.

Полусознательное ощущение стратоновской близости весь остаток ночи преследовало Евгению Ивановну, только сном и можно было отбиться от него: так и сделала. И правда, Стратонов сперва отстал, едва сомкнулись веки, но вскорости догнал и, как ни противилась, обнял всем своим существом, живой и без недостатков, которые так старалась подметить накануне. И так плотно у них перемешалось все, что нельзя стало распознать, где кончался один и начиналась другая... Внезапно спальня расширилась до размеров площади, залитой праздничными людьми, и кровать, похожая теперь на катафалк, двинулась сквозь расступавшуюся толпу, притворно не замечавшую происходившего...

Разбудил щекотный холодок в ногах, одеяло сползло на пол. Две розы, которых раньше не было, лежали на ночном столике возле кровати. В том же положении, только одетый и выбритый теперь, мистер Пикеринг сидел на том же месте со справочником на колене; сквознячок шевелил лепестки рисовых страниц. За время недозволенных событий он успел отлистать историю Кахетии от пленения Агсартана Второго до несчастий Теймураза Первого. Как положено в любовных сказаньях, бедное чудовище караулило свою крошку в полном неведении, что его обкрадывают.

Заслышав движение, оно раскрутилось в обратную сторону и приблизилось к жене.

— Вы так бились во сне, Женни, — сказал мистер Пикеринг, опершись в резное изголовье кровати, — как если бы вам пришлось убежать от погони... Я дважды подходил к вам.

Евгения Ивановна ужаснулась словам мужа.

— Дурной сон... — поспешно согласилась она, натягивая одеяло до подбородка. — Что же вы не разбудили меня, док?

— Когда я подбежал, вы уже улыбались... и я решил, что прошло. Так что же именно гналось за вами, дорогая?

Ничего не слышалось в его обычном голосе, кроме вкрадчивой ласки, которая в глазах застигнутого преступника всегда сходит за прием коварства. Невозможность оправдаться в своей вине толкнула Евгению Ивановну защититься первой подвернувшейся на уста неправдой. Ей даже не пришлось особенно притворяться, она действительно часто задумывалась в тот период о маминой смерти, ставя ее в причинную зависимость от незаконно закопанных на огороде двух серебряных подстаканников и золотых часов отца, подношения сослуживцев. И, чтобы убедительней выглядела история, Евгения Ивановна начала с того памятного дня, когда какая-то из тогдашних недолговечных властей впервые перекопала у них пол-усадыбы в поисках несчастных ценностей:

— А у мамы помидоры с грядок еще не убраны... Англичанин прервал жену на полупhrазе:

— Не трудитесь, Женни...

— Рассказывать сны — все одно что развертывать горелую бумагу: они рассыпаются!

В страхе утратить доверие этого человека Евгения Ивановна сделала неуклюжую попытку привлечь его к себе, лишь бы заглушить в нем тайные подозрения. Англичанин бережно разомкнул ее руки у себя на шее. Она так и поняла, что муж не желал вникать в измену, которой, в сущности, не было, вместе с тем его не соблазняли подонки нежности после другого. С отчаяния, что могла назвать во сне чужое имя, Евгения Ивановна разрыдалась.

Раскаянье вязало женщину в узлы, кидало о подушки. Пальцами одной руки растирая в кашлицу подвернувшуюся розу, англичанин выжидал конца припадка со стаканом воды в другой. Рубашка сбилась с плеча, детские слезы катились на голую грудь. Нечто так не убеждало в невинности жены, как это крохотное бесстыдство.

Когда всхлипывания стали реже, мистер Пикеринг счел возможным вмешаться в стихавшую бурю.

— Успокойтесь, не бегите от меня, не напрягайтесь со мною, Женни. Я ваш вечный друг... и скорее выпейте эту воду, — заговорил он, кладя исцеляющую руку на еще содрогавшееся плечо. — Что бы ни случилось, самое худшее, я не причиню вам боли... успокойтесь же, вот так, так. Кстати, не кажется ли вам, что откуда-то понесло прелестным кухонным чадом? Не представляю себе иных запахов, с равной силой благовествующих о земном благоденствии. Не зря в древнейшем Израиле, со времен благополучного приземления Ноева на Арарате, бог изображался в виде ноздрей, вдыхающих жертвенный дым. Я расскажу вам за завтраком эту занятную историю, кстати происшедшую поблизости, в ста тридцати километрах к югу отсюда, по меридиану, но... одевайтесь же теперь! Вы взяли себе в мужья феноменального обжору, дорогая.

Здесь Стратонов вторично постучал в дверь. К несчастью, время завтрака бесповоротно истекло, зато обедали в Кахетии по-крестьянски рано. Полчаса спустя все трое через анфиладу нежилых парадных комнат проследовали в столовую. Сказывалось утомление минувшей ночи, беседа не ладилась, несмотря на обилие вина и присутствие директора совхоза, признанного тамады республиканской категории. Некоторое оживление наступило лишь в конце, когда англичанин выразил несдержанное восхищение цинандальским меню. Изысканный и безвестный мастер пицци жил и творил для немногих

в алазанской глуши. Польщенный признанием знатока, директор сообщил, что повара зовут Котэ, и, кажется, собирался в кратких чертах накидать биографию артиста, но тут его вызвали по хозяйству: горячая уборочная пора наступала по всей Кахетии. За четверть часа, пока он бегал в контору, Стратонов успел по секрету приоткрыть гостям, что сюда, в кулинарный эдем, наезжают из Тифлиса начальники закалять организмы к генеральным схваткам за человечество, — причем как бы песочек похрустел у него на зубах. Вслед за тем у Стратонова произошла та досадная перепалка с мистером Пикерингом, которую нельзя рассматривать иначе, как стремление любой ценой подняться из ничтожества в глазах женщины.

Краем глаза, не поворачивая головы, Евгения Ивановна все время наблюдала своего раздраженного визави. После ночных сумасбродств в качестве призрака живой Стратонов показался ей почти мертвецом. За столом чуть наискось против нее сидел недобрый, невыспавшийся и, главное, совсем немолодой человек. И, значит, никто не собирался подстреливать его в том приснившемся Евгении Ивановне ущелье, а, видно, свалили ударом по челюсти, отчего до сих пор нижняя часть лица то и дело произвольно смещалась влево. В возмещение чего-то навеки утраченного этот господин отпустил поэтическую шевелюру, и она, пожалуй, даже шла бы ему, если бы ее чаще прополаскивать в теплой мыльной воде. Огрубелые руки, обтрепанные обшлага с булавками вместо запонок, с расстояния ощутимая нервная усталость — все без утайки рассказывало о стратоновском бытье на достигнутом берегу. Он жил пусто и одиноко, без надежды, без любящей женщины, в озлобленье постоянного страха. Ни одно из подмеченных горьких обстоятельств не доставило Евгении Ивановне желательного облегчения.

Пощипывая кисть винограда, Стратонов докладывал о прошлом Цинандальского имения и, между прочим, о прежних владельцах нынешнего винного совхоза, знаменитой семье Чавчавадзе, в особенности подробно — эпизод с мюридами Шамиля, как они ровно семьдесят лет назад схлынули сюда с горных стремнин и утекли назад в чаду пожарища, приторочив к седлам двух грузинских княгинь. И хотя Евгения Ивановна и без того молчала, ей ясно становилось, что профессиональным многословием, избытком сведений гид старается заполнить целиком предоставленное ему время, чтоб не оставалось пробела для посторонних вопросов и объяснений. Выяснилось кстати, что с конца прошлого века имение перешло от разорившихся хозяев к последней русской династии и в кровати, где провели ночь супруги Пикеринг, неоднократно почивал сам Александр Третий.

Сообщение вызвало у мистера Пикеринга неосторожную шутку, что это был, помнится, самый крупный по размерам русский царь... Опустив глаза в тарелку, гид молчал долю минуты.

— При жизни этого государя иностранцы даже у себя дома, в Европе, воздерживались от неосторожных суждений по его адресу... — шелестяще и как бы вскользь произнес он в тоне исторической справки.

И так интересно становилось Евгении Ивановне наблюдать возрастающее смятение этого падшего человека, что решила не напоминать пока, как вскоре после Февральской революции тот же студент Стратонов, кипя гневом против самодержцев вообще, рассказывал ей анекдоты из жизни того же Александра: про его уединенные выпивки с садовником, привычку таскать в голенище флягу с коньяком, про его варварские соло на геликоне.

Англичанин дружелюбно подлил вина в бокал Стратонову.

— У меня не было намерения задеть ваши политические убеждения, — с искренним сожалением сказал Пикеринг. — Ростом я даже несколько выше, чем помянутый Александр. Про меня тоже острят у нас, в Лидсе, что из всей нашей профессуры я произвожу на студентов самое неизгладимое впечатление... правда, несколько в ином смысле, чем хотелось бы.

Стратонову выгоднее было не замечать его примирительного маневра.

— Прошу извинить внеслужебную вольность, но многие посетители с Запада вообще склонны ронять шаловливые мысли о нашей национальной трагедии... — не унимался он, стремясь жизнеопасной бравадой перед мужем набить себе цену в глазах его жены. — Что не мешает им, однако, уносить из советских ресторанов в качестве сувенира пущенные в обиход дворцовые салфетки с вензелями покойного монарха. Видимо, несмотря на просвещение, в Европе до сих пор имеется спрос на добрый кусок веревки от повешенного... Правда, я не замечал этой тяги за вашими соплеменниками, но, уверен, и среди них найдутся, как говорится, интересующиеся поспать ночку-две в императорской кровати...

И, не давая опомниться потрясенному мистеру Пикерингу, гид распространился об особой разновидностях иностранцев, которые приезжают пострелять горных козлов в кавказских заповедниках, утоляют жажду коллекционным винцом и по получении даров высказываются у себя в газетных интервью о полезности социализма для России.

— О, вы действительно так думаете? — ошеломленно косился англичанин.

— Бросается в глаза при этом, — с разгону, поднимаясь и торопясь довершить свой бунт до возвращения хозяина, заключил Стратонов, — что ни один из таких быстрых друзей не попросился покамест к нам на вечное жительство. Я кончил и... мерси за внимание. Итак, будем продолжать нашу работу?

План последовательного обозрения Алазанской долины был составлен еще в Тифлисе.

Вторая половина дня полностью посвящалась знакомству с кахетинским вином — с его историей, производством и подвалами совхоза. В целях наилучшей подготовки к последней, наиболее ответственной части была предпринята небольшая прогулка в окрестностях Цинандальского дворца. Директор самолично проводил гостей под сень парка, сплошь составленного из могучих платанов, ливанских кедров и стеркулий.

Мимоходом Стратонов, на пробу, справился у англичанина, не производят ли эти вековые деревья впечатления затаившихся демонов, готовых искрошить любую бурю в своих мускулистых объятиях. Тот отвечал довольно сдержанно, что нет, не производят. Тогда из жгучего желания сгладить дурное впечатление от давешнего выпада против Запада Стратонов по возможности почтительно осведомился у профессора Пикеринга, не возникало ли у того когда-либо научного интереса к прошлому Кавказа. Нет, сухогато отвечал тот, не возникало... Тем временем они оказались на самом обрыве цинандальской цитадели. Вековые каштаны, чьи плоды похрустывали под ногами, нависали над пропастью с каскадами колючего кустарника. Далеко внизу простиралось уставленное редкими кипарисами каменистое пространство, внушавшее жажду полета в окаймленное сиреновой каемкой гор.

— Отсюда вы можете наблюдать начальное шествие кахетинского вина... — из-за спины и вполголоса подсказал Стратонов, снова и снова давая себе мысленный зарок не сердить отныне своих клиентов...

— В том году виноград созрел неделей раньше обычных сроков, и сбор его по всей долине начался как раз накануне. Провинившийся гид безответно спросил у гостей, не кажется ли уважаемым господам, что все говорит шепотом в это утро: листва, вода, даже птицы. Только перегруженные корзинами нового урожая арбы лениво скрипели там, внизу, по дорогам. А за спиной, по ту сторону парка, в полную силу стучали давяльные машины на мокрому цементном полу, и, показывая рукою на разрушительные каландры, где умирала благородная красота виноградных гроздей, чтобы приобрести пьяную мудрость вина, Стратонов стал посвящать своих спутников то в различия сортов Будешуре и Муване, то в особенности мартовской подрезки растений, а от Евгении Ивановны не ускользнула насмешливая переглядка виноделов, когда он распространялся о преимуществах прививки на лозу Берландиери в условиях черноземной полосы.

Вдруг старший из них, грузин с нависшими бровями и с руками, по локоть мокрыми от будущего вина, зачерпнул стакан вспененного виноградного сока и с непокрытой головой протянул его скучавшей гостье — древнее горское рыцарство сквозило в его медлительном жесте. Ее глаза блеснули в ответ, ее миловидность на мгновение стала слепительною красотой, она поднесла к губам и откинула голову, так что распались по плечам стриженные волосы и обнажилось розовое горло, и она захлебнулась, и несколько капель пролилось мимо рта, ей стало весело, она засмеялась. И, салютуя вечной женственности, старик дважды кончиками пальцев, пока пила, коснулся своих прямых, как туры рога, перекрученных усов.

Вряд ли стакан пресного виноградного сула заслуживал такого показного восхищения.

Видимо, женщине захотелось хлестнуть кого-то по глазам своей расцветшей прелестью.

Тревожно поглядывая на жену, понемногу разгадывая роль Стратонова, англичанин смятенно спрашивал себя, не являлся ли сам он для Евгении Ивановны орудием мести, жестокость которой усиливалась его внешностью. Когда отправлялся в ее страну, он не мог предвидеть этого унижительного состязания с малопочтенным русским господином, и самая оскорбительность его в том заключалась, что уж не оставалось возможности избегнуть его теперь.

Евгения Ивановна поймала на себе внимательный взгляд мужа.

— Оно же совсем безгрешное, без единой хмелинки пока... попробуйте, док! — оправдывалась она и отдавала стакан с недопитым глотком и алым краешком от прикосновения губ.

Против воли втягиваясь в игру, англичанин капля по капле отпивал это неродившееся вино, тем не менее терпкое и жгучее для него, как если бы на адском пламени настоящее, — отпивал и не сводил глаз с противника, безучастно ударявшего прутиком по крагам.

Они отошли, каждый с острым предчувствием какого-то своего, близкого и неизбежного теперь отчаяния или торжества впереди. И, словно назначая место для предстоящего поединка, Стратонов сообщил гостям, что в ближайшую ночь в селении Алаверды, на противоположном берегу Алазани, открывается осенний храмовый праздник, сопровождаемый ежегодичной ярмаркой. На нее съезжаются представители едва ли не всех кавказских племен, даже дальние лезгины. Туда двадцать километров трясуемого, местами адски пыльного проселка, но лишения поездки с лихвой окупятся обилием экзотических впечатлений.

— Это мне знакомо... Алаверды, Алаверды, — применяясь к ударению, вспомнил англичанин. — Это транзитный пункт многих азиатских орд, когда-либо прорывавшихся на юго-запад Европы. И в нем, помнится, древний храм, основанный каким-то благочестивым странником...

— Вы хорошо выучили свой утренний урок, мистер Пикеринг, — пронзительно похвалил Стратонов, потому что заметил утром оксфордский справочник у англичанина на столе.

— Храм построен старцем Иосифом из числа тринадцати монахов, посланных сюда Симеоном Столпником из Антиохии.

— Как вы сказали?... Столпник? — прервал на непонятном ему слове англичанин.

— О, это Stylites! — пояснила мужу Евгения Ивановна и напомнила одноименную поэму Теннисона с любимой цитатой-девизом мужа: — «Show me the man hath suffer'd more than I!»

Без особой нужды и опять вряд ли только для мужа она бегло прочла все восьмистишие целиком; три года назад в бухте Мод она ни слова не знала по-английски. Стратонов тем временем, слегка улыбаясь, чистил пятнышко на рукаве, пока англичанин,

воркуя и держа руку Евгении Ивановны, производил над нею интимные супружеские пассы.

— Раз зашла речь, то я позволю себе прибегнуть к вашей учености с одной моей старинной путаницей... — продолжал Стратонов, лаская англичанина коварным взором. — Тут у меня помечено в книжке, что Алавердинский храм выстроен в седьмом веке, а помянутый Столпник жил на рубеже четвертого и пятого. Кроме того, в середине шестого Хозрой Великий начисто опустошил Антиохию, так что навряд ли она после подобной экзекуции была в состоянии не только рассылать за границу легатов, но и в своих-то собственных пределах поддерживать христианское вероучение... Позвольте, я повторю вам задачу! — И он терпеливейшим образом растолковал врагу координаты головоломки.

— Не поможет ли мне разобраться в моих смешных затруднениях уважаемый мистер Пикеринг?

Кончики ушей у англичанина слегка окрасились, он машинально сорвал красную ягоду с тисового деревца на обочине, и затем энциклопедическая машина ученой памяти пришла в движение. Ошибку бывшего соперника мистер Пикеринг поймал почти немедленно, но хотел выяснить теперь, действительно ли незнание было причиной вопроса или разгаданное намерение пошатнуть в глазах жены его научный авторитет.

— Антиохии после Хозроя и незачем было посылать сюда миссионеров, — приступил он к распутыванию клубка. — К тому времени христианизация Грузии вчерне была уже закончена. В шестом веке Прокопий Кесарийский называет грузин яростными христианами. Следовательно, этот памятник мог быть построен не позже пятого века... У вас помечено — в седьмом? Дешевизна книги, несомненно, повышает спрос на нее среди простого населения, но... рекомендую покупать британские справочники: у нас не экономят на авторах такого рода, на корректуре... да и на бумаге, пожалуй. Кстати, насчет вашей осведомленности: у вас тоже имеется вадемекум под рукой или вам приходится часто бывать здесь по службе?

Тот обнажил белые, не все в целости, зубы довольно откровенной усмешкой:

— Кахетия не включается в туристические маршруты из-за отсутствия оборудованных баз, как вы могли подметить прошлой ночью. Именно об этом мистер Пикеринг хотел меня спросить?

— Нет... мне интересно, господин Стратонов, это вы по собственному почину балуетесь историей на досуге или ваша фирма требует от своих служащих специального образования для занятия должности... которую вы исполняете в такой своеобразной и недопустимой манере?

Разговор сам собою перешел на французский, как бы для соблюдения равенства в оружии, и вдруг снова прорвалась русская речь.

— Я служу... — озлился Стратонов, — и мои услуги оплачены вами в иностранной, очень ценимой у нас валюте: мы бедны пока... Как известно, наши союзники не поделились с нами плодами победы, в основном купленной морем русской крови... И мой ручеек там же. Видите ли, для постройки новой России нам требуется много денег... в том числе на замену моих ботинок, готовых окончательно развалиться под вашим взглядом, мистер Пикеринг! — И вот уже не было сил вовремя остановиться. — И вообще, когда союзники России покинули ее в беде, я вынужден был временно уйти за границу... пока не решил вернуться домой, приносить посильную пользу отечеству... пусть даже на осушке болот!

Для этого мне пришлось защемить в себе душу, предать свою мечту, даже совершить подлый поступок, воспоминание о которой сжигает меня дотопи...

Его монолог прозвучал не менее наивно, чем перечисление случившихся за целую неделю событий в ответ на чье-нибудь неосторожное *how do you do?* Пятнистый румянец, срывающаяся речь и ряд других мелочей выдавали в тот момент бедственное состояние Стратонова. Судя по всему, сейчас он согласился бы даже на небольшое служебное преступление, лишь бы загладить свою вину. Мистер Пикеринг кинул жалобный взор на

жену, ради которой с утра терпел чисто русские переживания. Держа зеркальце в ладони, Евгения Ивановна красила губы, рука дрожала, солнечный зайчик резвился на щеке.

— Я подозреваю, — не прекращая занятия, заметила она, — что господин Стратонов затеял свою неуместную исповедь ради кого-то третьего, кого нет среди нас.

Карандаш сточился, она бросила под куст пустой золоченый цилиндрик.

Прошло некоторое время, прежде чем гид вернулся к своим обязанностям. Стало понятно, что им уже не удастся расстаться без какой-то заключительной трагической концовки. С минуту трое шли молча, как бы отдавая дань дикому очарованию окружающей природы.

Так, незаметно, они очутились близ того места, откуда начинали осмотр. Трудно было придумать уголок укромнее для какой-нибудь загадочной поэтической тайны... И действительно, в диких зарослях на краю цинандальского плато пряталась уютная, с куполом, белокаменная беседка, память о которой, по словам Стратонова, стоило увезти с собою в Англию.

— Нам остается взглянуть на судьбу одной такой мечты, — с дрожью в голосе приступил он, грудью заслоняя до поры зрелище позади себя. — Не следовало бы показывать это иностранцам, если бы здесь не подтверждался давешний, хотя и недосказанный намек миссис Пикеринг, что одним сожалением не воскресишь навек загубленного. По преданию, в этом месте русский поэт Грибоедов обручился со своей невестой. Она была из рода Чавчавадзе, ее звали Нина, ей было тогда пятнадцать лет. К несчастью, вследствие соблазнительной уединенности не все посетители относились с чуткостью к этому романтическому гроту любви...

С видом скорбного свидетельства гид отошел в сторону, и гости замерли на пороге с протяжными, слившимися воедино возгласами гнева и изумления. Пол беседки был равномерно загажен до последнего сантиметра, даже в углах, что наводило на размышления о постоянстве людских привычек и преимуществах настойчивой тренировки: не наступить. Вязь из сомнительных рисунков и надписей на двух языках покрывала известковые стены, помнившие девический лепет Нины. Евгения Ивановна просительно стиснула локоть мужа.

Обернувшись, мистер Пикеринг с отвисшими краями рта уставился в дрянной матерчатый галстучек гида.

— Я обещаю моей дорогой жене, — с ледяной яростью произнес англичанин, — скрыть от властей в Тифлисе ваше дерзкое и болезненное поведение. Нам обоим было бы одинаково неприятно, если бы наш визит в эту страну стал причиной самой крупной неприятности из всех, уже испытанных вами.

Старомодным жестом англичанин предложил руку жене, побледневший Стратонов едва успел уступить им дорогу.

По счастью, на обратном пути гостей перехватил директор, торопившийся самолично ознакомить их с материальной стороной дела: подразумевалось посещение коллекционных, под землю, цинандальских кладовых. Сочтя необщительность англичанина за признак наступающего припадка, он предложил проверить целебное действие хмельных алазанских сокровищ на заграничном недуге. Своим согласием мистер Пикеринг проявил величайший такт и понимание всемирно-исторических обстоятельств.

В сопровождении почтительнейшего теперь Стратонова все трое спустились в сводчатые погреба, где во тьме, из пряной подвальной затхлости зарождается одно из тончайших благоуханий земли. Однако ни циклопическая, в три человеческих роста, праматерь цинандальских бочек, ни пробы из замшелых бутылок повышенной давности, ни очевидное раскаяние забытого в отдалении гида — ничто не могло подправить настроение чувствительного гостя. Правда, подчиняясь молящим взорам жены, мистер Пикеринг отказался от первоначальной мысли о немедленном отъезде домой, зато решительно отверг и предложение посетить ярмарку в Алаверды под предлогом, будто ночь без сна и под открытым небом смущала его, неугомного ходака по арабским



пустыням. Прямо из погребца, снова под руку с женой, он проследовал в отведенное ему помещение, и затем в продолжение двух часов с четвертью супруги смотрели из-за спущенных оконных занавесок, обмениваясь отрывочными суждениями по поводу происшедших событий.

Даже для Кахетии очаровательный день тот был пронизан золотистым послеполуденным сияньем. Далекий горный ледник вызывал в памяти лезвие каменного ножа из полупрозрачного лилового минерала. Облака осеняли его, подобно призракам с вздетыми руками, что крайне умиротворяюще действовало на настроение. Вдобавок возвращение прежней дорогой, через Карс, требовало новых, довольно хлопотных отсюда переговоров с Москвой. К концу дня, когда ничего не подозревавший директор снова поднялся к гостям, Евгении Ивановне удалось уговорить мужа, чтобы он счел себя жертвой еще не законченной в России политической борьбы. И наконец провинившийся гид с таким убитым видом высидел эти полдня на самом припеке внизу, что после повторного совещания с женою мистер Пикеринг согласился испить до дна предложенную чашу.

И тогда оказалось, что все уже готово для увеселительной поездки. За углом главного здания, отваясь на приспущенную крышу, дребезжал и содрогался транспортный, со спущенным верхом механизм, знакомый по переезду от пограничного озера Хозапани до Тифлиса. После погрузки ковров, вина и различной пищи небольшой кипяильный бак был прикручен проволокой к багажнику — на случай, если снова, не дай бог, что-либо стряется с ценной головой товарища Пикеринга.

Когда машина тронулась, последним на переднее сиденье вскочил за день похудевший до сходства с тенью, вовсе неслышный теперь Стратонов.

Автомобиль, повелением властей прикрепленный к гостям на срок их пребывания в Грузии, когда-то являлся венцом техники, и, по преданию, на нем ездил сам наместник Кавказа. Время и, возможно, неоднократные падения с горных вершин превратили его из хрупкого заграничного бьюика в закаленный невзгодами отечественный биук.

Передвижение с его помощью обычно пугало новичков, но едва убеждались, что возврата нет, тотчас открывались и привлекательные стороны путешествия на нем, как во всяком головоломном предприятии.

На продавленных сиденьях гостей уже ожидали два винодела из соседнего Телиани. В круглом багряно-оптимистическом лике одного читалась приверженность к телесным утехам, зато аскетическая внешность другого говорила о склонностях как раз духовного порядка. Подобно Марфе и Марии, по их собственным словам, они взаимно дополняли друг друга в ответственной поручении тифлисского руководства показать гордым британцам чисто кахетинское гостеприимство. По суровой осанке обоих мистер Пикеринг принял их сперва за местных министров, чем в начале пути несколько стеснялось их общение, но причудливые дорожные приключения с каждым километром все теснее сближали пассажиров. Они равномерно взлетали на выбоинах дороги, или дружно валились вперед на крутых спусках, или же, напротив, уютно и со зловещим визгом уплотнялись в кожаные подушки при внезапном рывке куда-то вперед и вверх. И чтобы время текло без скуки, у них то с треском поломки выключалась скорость, то закипало в радиаторе и деревянная пробка на пакле выстреливала ввысь, как от шампанского, после чего шофер снова затевал такую джигитовку на поворотах, что тело ненадолго утрачивало весомость, заодно пульс, а также надежду на лучшее будущее. Посредством этих несложных приемов парень за рулем стремился внушить иностранцам уважение к своему ремеслу.

К радости англичанина, оба телианца оказались такими чудесными, простыми виноделами — веселые, гордые, прямые, без всякой подделки кахетинцы, что невольно забывалась недавняя обида. Уже с полдороги тот, что потолще, все кричал на ухо Стратонову, чтобы пересилить адский дребезг биука:

— Переведи ему, генацвале, чтоб имел представление. Вся долина, полтора ста верст, сплошное вино... вино пополам с огнем течет в жилах Кахетии. Напареули — читал на бутылках? — налево за рекой будет, вон где, ишак идет. Гурджаани, Карданахи — слышал?.. — дальше помещается, в направлении — мимо вон тех белых ворот, за кипарисами. Всю Алазань под звон бокалов проехать можно. Когда потребуется, пусть прямо мне напишет: Мир, Грузия, Сигнахский уезд, больше ничего не надо, прямо на мое лицо. Вышлем наилучшее, какое сами на свадьбах пьем. Будь человек, переведи ему мою фамилию, кацо!

Тот переводил, волнуясь, прибавляя от себя и нарочно ошибаясь, чтобы с полным правом обращаться к Евгении Ивановне за помощью. Теперь Стратонов сидел спиной к ней, со связанным барашком на коленях, но опять всю дорогу ее мучило неотвязное ощущение, что не сводит с нее покорных и молящих глаз.

А уж потянуло влагой с Алазани и прибавилось дорог, которыми во всех направлениях была иссечена местность. Они сливались в одну, похожую на обсохшее русло, если бы не изрубленную колеями, уводившую к лиловым распадам гор. Все чаще биук обгонял всадников, нередко по двое в седле, или запряженные волами арбы семейных. Хозяин шагал обок с колесом, старики качались на передке, из крытого коврами возка сверкали черные глаза многочисленного потомства. На ярмарку ехало все живое, дома оставались собаки. Резиновая груша давно охрипла, шофер криком и размахиванием рук прокладывал себе дорогу.

Если не обманывала даль, снеговой хребет приблизился на расстояние выстрела.

Вечерело... тем легче на померкшей синеве различались теперь отдельные горные ярусы, одетые в лес, в зеленый войлок альпийских лугов, в розовое облачко, в зияющее ничто.

Воображение последовательно расселяло на них монахов, пастухов, орлов и ангелов...

Скоро видение завалилось за надвинувшиеся слева, как бы верблюжьей шкурой обтянутые холмы. Разговоры затихли. Быстрый вечер бежал навстречу, по сторонам дороги повисали подмытые туманом кипарисы. В похолодавшем воздухе дохнуло кизячным дымком, и обреченный барашек стал проявлять понятное беспокойство; тощий телианец, привстав, коснулся его рукой, как бы приглашая к мудрости...

Вдруг из-за оливковой рощи вымахнул строгий куб Алавердинского храма с охваченной закатом шатровой кровлей. Разминаясь и утрачивая нить беседы, все вышли на вытопанное кукурузное поле. Где-то рядом, в сумерках вблизи шумел ярмарочный табор, как бы орда в походе. Тонкая пыль висела в воздухе, похрустывала на зубах. Стратонов полез за платком вытереть лицо, и что-то, сверкнув оранжевым лучиком, выпало из его кармана. Хотя он успел наступить ботинком, Евгения Ивановна опознала давешний цилиндрок от губного карандаша, кинутый ею на траву цинандальского парка. Тревожное, выжидательное озорство охватило ее всю...

— Прошу любить эту землю, нашу щедрую старую мать! Кахетия наша да живет вечно! — возгласил толстый телианец и, поцеловав пальцы, благоговейно коснулся ими летучего праха под ногами.

Пока стелили ковры вокруг ошипанного тутового дерева, а шофер вдохновенно раздевал баранью тушку, смиренный Стратонов повел гостей смотреть собор. Согласием на его дальнейшие услуги англичанин выразил степень привязанности к своей жене. Было нелегко пересечь этот текущий однодневный город, который, из ничего возникнув накануне утром, распадется завтра к ночи. Тотчас за овражком спутников подхватил кипящий людской поток и, как цветную гальку редкой формы, повлек с собой мимо отпряженных возов и бесчисленных палаток. Всевозможные, куда ни глянь, гастрономические соблазны, трескучие, как их грузинские названия, клокотали в котлах и на жаровнях или, вздетые на шомполах, весело постреливали струйками искусительного

чада — не хуже, чем на базарах Пикеринговой Ниневи. Кипами, под самый верх полотняных навесов, дразнили англичанина еще не остывшие груды пухлого, с хрустким угольком чурека, да еще все это в окружении здешнего вина — в кувшинах, козьих или буйволиных десятипудовых бурдюках, косых бутылках пузырчатого, архаического стекла и вот уже в стаканах, полных доверху, только руку протянуть. Все чаще, как бы с познавательной целью, мистер Пикеринг задерживался у прилавков, и, подметив его интерес к простонародным лакомствам, Стратонов стал прилагать усилия вовсе потерять англичанина в толпе. Скоро, уже по ту сторону ярмарки, оглянувшись украдкой, он убедился в достигнутом успехе.

Вчера начавшийся торг был теперь в самом разгаре. По берегам людского потока громоздились в небрежных навалах все соблазны горца. Сумасбродной пестроты московские ситцы, еще пахнувшие не то жавелем, не то северным сеном, чередовались с кахетинскими кошмами и бурками, а всякая домашняя утварь — от луженых кастрюль вместимостью в полбарана до паласов на глинобитную стенку сакли — красовалась вперемежку с долговременными, особо прочными для молодых зубов сладостями самых завлекательных расцветок. Телавские гончары, свесив тяжкие руки меж колен, сидели на корточках возле своих творений — в пределах от детских безделок к свистулек на три пронзительные ноты до стоведерных узкогорлых чор, впрок зарываемых на усадьбе с крестьянским вином. И рядом сигнахские шорники, расположась на траве, стерегли свои высокомерные шедевры: стройные седла с томными луками, наборы сбруй с финифтяными пряжками лезгинской работы, кубачинские уздечки и пояса в чеканном, с чернью, серебре, которое похвалил бы сам Бека Опизари, и самое дорогое из снов джигита — мозаичной шагрени туфельки с золоченым каблукком, что так и просятся на ножку милой. Сумерки удваивали таинственную прелесть раскиданных под ногами сокровищ.

— Да где же мы его с вами посеяли, нашего долговязого мистера, вот беда! — срываясь на мальчишеский фальцет, вновь и вновь приступал Стратонов, все смелей становился от безошибочного ощущения, что и Евгению Ивановну захватило колдовское завихренье вокруг. — Давайте руку, я вам помогу выбраться на берег... Черт меня давеча толкнул в эту запущенную беседку, где я и сам ни разу пока не побывал! И потом, все хочу спросить и забываю, верно ли, будто это ужасное несчастье произошло с мистером Пикерингом где-то не то в Каире, не то в Бомбее?

— Какое, какое несчастье? — силясь перекрыть поток, откликнулась Евгения Ивановна несколько общительнее, чем полагалось бы ей теперь.

— Какое, сами знаете... мне намекнули еще в Тифлисе. А ведь это могло жестоко отозваться на его мозговой деятельности потом!

— Не понимаю... какое?

— Ну, будто его грохнули палкой по голове при каких-то там колониальных обстоятельствах...

Обманутая тоном участия, да еще в такой толчее, Евгения Ивановна не поспела, на миг всего опоздала отбиться, опровергнуть, на место поставить этого битого, полупрощенного, от гадкой скорби своей извивающегося господина, а дальше поздно, вовсе неприлично стало защищаться, вступать в пререкания, даже просто обсуждать с ним любое несчастье мужа, тем более что к делам колониальной администрации тот никогда отношения не имел. Все же она решилась объяснить, что контузия произошла почти случайно, от кустарной и через окно другому предназначавшейся бомбы, и тотчас же Стратонов согласился, что бомба для джентльмена не в пример лучше палки. А Евгении Ивановне уже плакать хотелось от обиды и путаницы, а больше всего от отчаяния, что самой этой дерзостью своей гид посмел напомнить ей наконец о прежней близости.

— Да оно и не важно за что, уж верно натворил чего-нибудь по молодости... Руку, руку давайте! — кричал Стратонов я тянулся поверх толпы.

На бугре перед ними громоздился алавердинский собор св. Георгия... И вот, не позволяя Евгении Ивановне ответить, Стратонов засыпал ее таким количеством тотчас

забываемых исторических сведений, что даже странно становилось, каким образом столь многое могло произойти в такой крохотной точке земного шара. Булыжная, с канавой посреди, мостовая вела вверх, к воротам крепостной толщины. Подламывались каблуки, и начинало раздражать обилие прошлого, хотелось назад, в простонародную толпу садовников и пастухов, туда, к певцам и танцорам, к юношам с ястребиным профилем и строгим змеиноглазым девушкам, которые, при пламени костров и взявшись за руки, раскачивались в двойном хороводе перхули. Гулкий молитвенный полумрак стоял в храме, и как бы из благоговения к тишине Стратонов читал свою лекцию чуть не в самое ухо Евгении Ивановны, но она-то знала — почему, и, не смея отодвинуться из страха еще большего сближенья, она по холодку на щеке узнавала, как ловит он ноздрями разделяющий их воздух, а для сокрытия производил руками всякие рассудительные движения, показывал с притворным равнодушием гида то на каменные колонны в поясах пылающих свечей, то на полурасчищенную фреску, где из мгlistых потемок выступала щегольская нога византийского лучника, то на мучительно осунувшееся, как у него самого, лицо Федора Тирона, склоненного на арке с мечом в руке. Старый, в зеленых прослойках грузинский камень просвечивал сквозь апостолов и пророков, придавая им пленительную смутность призраков. Вдруг Евгения Ивановна попросила Стратонова говорить чуть медленнее — для мистера Пикеринга, который тем временем догнал их наконец: ей даже не потребовалось обернуться, чтобы убедиться в присутствии мужа.

Что-то дожевывая, англичанин с напряжением вникал скорее в интонацию, чем в самый смысл того, о чем с опущенными веками докладывал Стратонов.

Евгения Ивановна сняла соломинку с замшевой куртки мужа.

— Судя по вашему довольному виду, вы сытно поужинали. Что вы там ели, док?... так вкусно?

— Нечто из библейской кулинарии с огненной начинкой... во всяком случае, надолго запоминается. По меньшей мере до завтра я просто небезопасен в пожарном отношении.

— Если это по виду походит на наши пельмени, только крупнее и круглее, возможно, это было хинкали: с непривычки ошеломительная еда... — поддержал со стороны Стратонов, но супруги Пикеринг не сочли нужным заметить его сообщение.

— Самое странное, Женни, — в полушутку, интимным шепотом продолжал Пикеринг, — что, занимаясь реконструкцией отдаленных эпох, мы, наука, как-то пренебрегаем гастрономической стороной. А такого рода исследования дали бы ценнейшие сведения об исторической эволюции вкусов, иностранных влияниях, об экономических ареалах пищи наконец... Итак, — снисходительно и отраженным, через жену, вопросом обратился он к гиду, — какие еще беды натворил в Грузии разоритель, Шах-Аббас?

Плач ребенка поманил Евгению Ивановну в боковой придел собора. Происходили местные крестины. Древний, с фрески сошедший старик в заношенной епитрахили известкового цвета скороговоркой тянул молитву, византийский лучник из купола гулко подтягивал ему вместо причта. Многолюдная горская родня толпилась вокруг купели в кольце оплывающих свечей. Танцующие на сквозняке пламена последовательно выхватывали из плавучего сумрака морщинистый, срезанный черным платком старушечий профиль, небритую пастушью щеку на фоне выцветшего архалуха, склоненную подбородком к череске живописную голову старика. Все они грустно, как сквозь толстое стекло веков, созерцали орущего потомка...

Две другие семьи с иной неотложной надобностью и тоже чуть ли не с прадедами во главе дожидались очереди на ступеньках алтаря. Притягательная успокоительная магия обряда завороживала Евгению Ивановну, пока внезапный приступ тошноты не заставил ее стремительно выбежать на паперть. Никого не было вокруг, даже нищих, только звезды, последние. И хотя сразу все прошло от первого же глотка сыроватой, к ночи, прохлады,

Евгения Ивановна прислушалась к наступавшей в ее теле новизне, бессознательным движением приподняв грудь, точно взвешивая ее при этом. Видно, сказались утомление многомесячных скитаний, жирная пища, соборная духота, пропитанная ладаном, чадающим воском и, почудилось, запахом пеленок, а возможно, и вид полузадушенных кур, крестьянской платы за требу, которых священник за ноги потащил в алтарь.

Тем временем туманная мгла окончательно поглотила горную панораму, лишь над алавердинским очагом стлалась полная светлынь. Зарево бесчисленных костров играло на низких тучах, погода портилась. С паперти все звуки ночи — гул праздника, бляенье овец, даже писк комара, прилетевшего издалека за своей долей на пиршестве, — сливались в урчанье глухонемого исполина, выражавшего свое земное, вполне телесное удовлетворение. Где-то еще ближе, похожие на биенье сердца, чередовались гулкие удары бубна, местной дайры, и в мерный ритм ее так причудливо и неведомо откуда вписывалась в сопровождении то сплетающихся, то снова распадающихся голосов таинственная мелодия, выполняемая на тари... Шаг за шагом, без спутников, Евгения Ивановна спустилась поближе в неповторимое наважденье алазанской ночи, что струилась внизу, в тумане горелого жира и дымящихся ветвей. Дисковое колесо грузовой арбы проковыляло мимо, следом явился мелкорослый удалец в черкеске с газырями и с кинжалом, достаточным по длине нашарить сердце в мамонте; под музыку наемных музыкантов, откинув крылатые рукава и словно весь Кавказ приглашая в танец, он вихрем мелькнул в расступившейся было толпе и канул в ночь. Рослый чеченец в бурковой шляпе и с тушей на плече прошел так близко от Евгении Ивановны, что тяжкая капля чего-то упала ей на белую туфельку с бараньего рога... Только теперь Евгению Ивановну и нашли мужчины.

Не без труда они отыскивали свою стоянку под тутом. С видом священнодействия телианцы хлопотали над шашлыком. Груда прогоравших углей источала сытный, дразнящий чад.

Отблески костра перламутрово отражались в бараньей шкуре, закатанной мехом внутрь, и эта подробность дополнительно обострила в глазах Евгении Ивановны дикую прелесть приключенья... Когда же сняли с шомполов прожаренное мясо, все с поджатыми ногами уселись на ковре вокруг скатерти; слово было передано вину. Оно щедро полилось за женщин, за детей и ласку, которыми они дарят своих любимых, за Англию тоже, чтобы не переводились в ней простосердечные пастухи и виноделы, за все, чем живо живое, и в первую очередь за гостей, которые унесут с собою на подошвах прах кахетинской земли.

И после каждого тоста Стратонов украдкой пил еще за нечто, известное ему одному... В передышке между тостами один из телианцев привел из ночи слепых певцов, мествире.

Шестеро с зияющими глазницами один за другим вышли из темноты, словно нанизанные на вертел. Каждый держался за плечо товарища впереди себя: вожак шел с весело откинутой головой, шаря палкой дорогу. Схожие по несчастью, как братья, они различались лишь возрастом, да еще — один был вооружен волынкой, а другой чем-то из четырех скрепленных серебром тростинок, а третий зурной, сазандари; руки остальных терялись во мраке. Внезапно передний споткнулся о пустое ведро — и как бы волна паденья с постепенным ослаблением пробежала по цепочке; первый едва не свалился в огонь, а последний так и не узнал о возможной катастрофе... Певцам дали по куску мяса на лаваше и поднесли вина, после чего велели показать уменье. С треть минуты регент усердно вгонял воздух в свою волынку, потом надутые щеки опали, и кожаный пузырь с человеческим голосом запел у него под мышкой. Музыка перемежалась словами, песня была длинна.

Едва угадываемые на грани ночи и тлеющего костра крестьяне и женщины с малютками на руках слушали концерт слепых; по их суровым лицам читалось незамысловатое содержание песни. Она, верно, была о том, как хорошо было бы все, что есть на свете, если только добавить к нему то, чего нет. Не зная перевода, каждый из

гостей подложил под музыку собственные слова. Евгения Ивановна бросила скользкий взгляд на Стратонова. Захмелевший, тот полулежал вдали, вне ковра, как ему досталось, подошвами в костер, и сосредоточась на синих, бегучих язычках огня. Женщиной овладело запретное желание немедленно проникнуть в его мысли, хотя она и сочла бы унижительным для себя выслушивать теперь стратоновские оправдания за константинопольский поступок.

Отставив подальше недопитое маджари, молодое вино, она, не поднимаясь, приникла к плечу мужа.

— Хочу знать, о чем задумался мой достоуважаемый эсквайр? — позволено ли мне проникнуть в его сокровенные мысли?

Тот отвечал вполголоса, чтоб не мешать слепцам:

— Помните, я водил вас смотреть парижскую копию Слепых старшего Брейгеля?

Шестеро таких же незрячих, как эти, бредут гуськом, и передний оступился в канаву, и вот уже всем остальным в разной степени передалось неблагополучие с вожаком. Только что на ваших глазах, Женни, в точности повторилось то же самое событие, и подмеченный художником механизм будет действовать в той же последовательности, пока неизменны физические координаты, на которых построен мир... — И затем профессор стал пространно излагать свои взгляды на назначение искусства, которое, полагал он, состоит не в отражении бытия в тесном зеркальце ограниченного мастерства, не в подражании, которое заведомо бедней оригинала, тем более не в повторениях, потому что кому под силу повторить солнце, кроме его творца? Цель искусства, по словам англичанина, заключается в осознании логики явления через изучение его мускулатуры, в поисках кратчайшей формулы его зарождения и бытия, а следовательно, в раскрытии первоначального замысла.

— Художникам не надо бояться отвлеченности: поправки па эпоху неминуемо внесет самый материал, из которого соткано событие!

Такая задача вполне посильна человеку: когда-то и вселенная была лишь идеей, начальным штрихом в черновом чертеже и, значит, может быть выражена на клочке бумаги в ладонь величиною. Пусть эта формула громоздка сегодня... по мере накопления человеческой зрелости она будет сжиматься до размеров поэтической строки, иероглифа, наконец, магического знака, с которого и начался однажды творческий акт. И дело художника — уложить событие в объем зерна, чтобы, брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнее, пленившее его однажды чудо... and that's all! Из чего вы вправе вывести безжалостное заключение, Женни, что я безнадежно пьян... но все равно, все равно, мне хорошо сейчас, как божеству в последний день творенья.

Он говорил, необычно волнуясь и многословно, не затем ли, чтобы подольше удержать эту женщину близ себя. Евгения Ивановна настойчиво высвободила плененную мужем руку. Немножко не своими словами она сказала мужу, что скоро им пора уезжать, а ей хотелось бы еще раз обойти на прощанье этот великолепный первобытный шабаш, пока не развеялся вместе с ночью.

— Пойдемте, док!.. только я накину пальто вам на плечи.

Англичанин взглянул жене в глаза, которые она не успела прикрыть ресницами. Теперь все трое знали о наступлении неизбежной минуты. Плачевный русский господин по ту сторону костра торопливо, словно в предчувствии чего-то, угольком из костра раскуривал трубку.

— О, Женни... — мужественно усмехнулся Пикеринг. — Я без преувеличенья становлюсь божеством, но ваша просьба застаёт меня в промежуточном состоянии: отнялись излишние для небожителя ноги и не отросли крылья пока. Может быть, господин Стратонов не откажется разделить с вами эту прогулку?

Услышав свое имя, Стратонов машинально отодвинул расплескавшуюся кружку с вином и принялся искать шляпу, словно без нее не мог приступить к исполнению службы.

Шляпа скоро нашлась, на ней сидел шофер. Искося, из-под приспущенных век женщина следила, как ее бывший муж почти в невменяемом состоянии возвращает смятому войлоку более-менее приличный вид для ношения на голове. Собственно, по душной ночной погоде, даже с зарницами порой, можно было обойтись и без головного убора, но теперь шляпа доставляла Стратонову спасительное ощущение официальности и, значит, служебной неизбежности предстоящей прогулки. И вдруг Евгения Ивановна содрогнулась от догадки, как мучительно и прочно умирал этот человек, чтоб занять нынешнюю должность гида при иностранцах. Женские каблуки прошли по ковру, колебля налитые стаканы. Как раз телианец провозгласил неуместный и пророческий тост: «Пусть это вино множит в нас пламя жизни и гасит его прежде, чем родится угар разочарования». По уходе жены англичанин долго созерцал темную жидкость в стакане, как бы забыв ее предназначение... Шофер крикнул по-грузински слепцам, и те послушно растворились в поднявшемся к рассвету речном тумане.

Алазанская ночь была на исходе, праздник удерживался теперь в пределах нескольких центральных улиц. В посветлевшем небе кружили проснувшиеся птицы, среди поредевших ларей возникал будничный гам, состоявший из стука молотков, переключки сердитых голосов и визга удаляющихся колес. Табор снимался с места. Изредка попадались распростертые у костров фигуры, застигнутые хмелем или сном, да еще утренний ветерок кое-где принимался подметать обрывки бумаги и сена на покинутых стоянках.

Евгения Ивановна замедлила шаг, чтобы то и дело отстававший Стратонов мог догнать ее, но расстояние не сокращалось. Она сделала вид, будто заинтересовалась кучкой торговцев, шумно деливших артельные барыши. Стратонов вынужден был остановиться рядом. Зрелище освещалось самодельным факелом из консервной коробки. Профиль Евгении Ивановны очертился каемкой алого сияния, и это подчеркивало пугающую новизну в ее лице с такою властной, просто недоброй теперь усмешкой, при тех же беспомощных, как раньше, только набухших, может быть, искусанных губах.

— Уже светает, трудно заблудиться сейчас... — торопясь, пока с ума сводящее любопытство к этому человеку не подернулось пеплом отвращения и скуки, заговорила Евгения Ивановна. — Мне лучше было отправиться одной, а вам оставаться с мистером Пикерингом. Он не слишком свободно владеет языком...

— Ну, незнание языка не составляет неудобства для богатых. Монета лучший переводчик.

Евгения Ивановна покосилась на спутника, который огрызнулся задолго до обвинения.

— Кажется, вы принимаете моего мужа за финансиста... впрочем, мне понятна ваша недобрость к нему. У нас в городке, откуда я родом, наличие самовара у соседей или ротонды на лисьем меху тоже нередко становилось причиной острых классовых расслоений. Однако мистер Пикеринг как раз небогатый человек. Он всего лишь ученый, и, по моим наблюдениям, это известно даже в Месопотамии... Кстати, его последняя работа еще не переведена в вашей стране?

Значит, еще не забыла константинопольского одиночества: боли в ней было больше, чем ненависти. За неимением своего — Стратонов был поставлен в необходимость защищаться чужим оружием, пользуясь отсутствием его хозяев.

— Охотно отвечу вам, если пообещаете мне минутку терпения.

— О, вы даже не подозреваете, насколько я терпелива, господин Стратонов.

Последовала небольшая пауза, в течение которой гид рассматривал подобранный из-под ног пруттик.

— Хорошо... но разрешите по-русски: об этом трудно на иностранном диалекте, — волнуясь, начал Стратонов. — Великие светочи России давно пророчили ей особую, героическую, в смысле отсутствия европейского эгоизма, историческую миссию...

которая долгое время служила темой яростных споров целых поколений у нас и поводом для юмора пошляков за границей.

Между тем тут опасно скалится зубы... речь идет о стариннейшей и, главное, всеобщей людской потребности в мире, добре и правде, то есть об установлении на земле высшей человечности... условно назовем это мечтой о золотом или праведном веке. Не поблекшая от многих противоречивых толкований, осмеянная и преданная столько раз на протяжении столетий, она донныне теплится искоркой в сердцах... ну, бедноты, что ли! — запнулся он на слове, — и, как Европа недавно убедилась, довольно сильно жжется в случае нужды. И вначале утоление этой ненасытной жажды было предоставлено доброй воле и отеческой совести государей, духовенства и вообще старших лиц, но потом ввиду разочарования и задержек младшие сами попытались сдвинуть дело с мертвой точки. Я веду к тому, что все прежние революции надо рассматривать лишь как разведку боем: генеральная битва начинается здесь и завтра. Вы сейчас увидите, почему и что именно объединяет нас, в этой стране, сегодня.

С незаурядным юридическим красноречием, хотя и в школьном объеме, Стратонов накидал спутнице родословную помянутой мечты. Опустив для краткости седую древность, он приступил прямо с потрясений западного средневековья, именно от великих крестьянских войн, связал реформацию с социальным кризисом христианского вероучения, «когда окончательно раскрылся творимый у алтарей сговор... ну, богатых, что ли!.. против меньшей и нищей христовой братии», вывел отсюда утопистов нового времени, которых назвал «интеллектуальным мятежом против темного царствия божьего», для чего сопоставил Civitas Dei Августина с Civitate Solis Кампанеллы, коротко блеснув латынью, несколько скрасившей его напыщенную неискренность, поокруглил, где не сходилось, и так, через энциклопедистов и ранний социализм, донес Прометееву искру до заголовка ленинской газеты.

Стратонов закончил сообщением, что перед решающей схваткой могучие силы включились в эту всемирно-освободительную эстафету.

Евгения Ивановна кротко улыбнулась в его сторону:

— Действительно, это большое приобретение для земного шара, если вы имеете в виду лично себя. Мы все там, в Европе, очень рассчитываем на вас, Стратонов, что вы не подведете.

Шагов десять только один пруттик стратоновский посвистывал, подсекая головки ломкой подорожной травы.

— Здесь, в Кахетии, отлично делают шашлык, и мне крайне приятно, что под его влиянием ваше настроение несколько улучшилось, — сказал потом Стратонов. — На этот раз вы не догадались, миссис Пикеринг... я не себя имел в виду, а огромную Россию, взвалившую на свои плечи предсказанный ей подвиг. В сущности, это все тот же путь к звездам, но в отличие от прежних — окольных, — через небо, здесь предполагается двинуть туда кратчайшим, земным маршрутом, сквозь гору и напрямки. Допускаю, это потребует жертв, но вдохновение подобных эпох вселяет в современников каталептическую стойкость и длительную нечувствительность к страданию!

— Надеетесь снова уцелеть при этом? — невесело усмехнулась Евгения Ивановна.

— Конечно, смех хорошо для здоровья, но у меня такое предчувствие, что Европа еще неоднократно побледнеет, когда эти люди примутся за дело вплотную.

— О, вы меня пугаете своими угрозами, Стратонов. Опять задумали что-нибудь адское?

Прутик сломался наконец в стратоновской руке.

— Боюсь, миссис Пикеринг, что тут одним английским юмором делу не поможешь. Не в угрозах суть, а в поучительной наглядности русского примера!

— Простите, в каком смысле наглядности? Если вы собираетесь на собственной судьбе показать, как оно получается, то... нет, вы действительно думаете, что это может



толкнуть на подражание Европу?.. Но мы отбились от темы. К сожалению, я все еще не поняла, к чему вам такое длинное вступленье.

— А к тому... — вскипел под ее взглядом Стратонов, — к тому, что его наука о черепках, обломках давно умершего может повременить, когда дымят и вопиют о мщенье разоренные гнезда живых. И пока непросохшая кровавая испарина войны и революции лежит на челе России, ей просто не до сочинений вашего супруга... Да, и на кой черт ему лишний лавровый листок в венке всемирного признания, если и без моего там хватит на семейный суп! — Вдруг испугавшись своего исступления, он осекся и некоторое время молчал, прикрыв лицо руками, чтоб вернуть самообладанье. — Извините мне недопустимый тон, миссис Пикеринг. Я плохо спал ночь накануне, вдобавок мое маджари заедал изюмом, а это не рекомендуется даже среди пьяниц...

— ...тем более на работе, — с мягким укором согласилась Евгения Ивановна. — Мне немножко известна ваша биография, а потому понятно и состояние ваше, но, поверьте, ваши хозяева так недоверчивы, что... если бы даже видели ваше усердие, вряд ли это помогло бы вам улучшить свое положение. Давайте сменим разговор!

Строгим трезвящим холодком повеяло от этой женщины с непрочитанными мыслями. В самом деле, должность свою Стратонов мог получить лишь после достаточной проверки, наверно, с публичным покаянием в многолюдной аудитории и, возможно, на более жестких условиях, исключающих повторную оплошность. Ему вовсе не следовало пускаться в обсуждение таких вещей с женою иностранца, и теперь приходилось повернуть вышесказанное в правильную сторону, чтобы без риска доложить в рапорте по начальству о состоявшейся прогулке... Итак, по словам Стратонова, даже краткое знакомство с обстоятельствами России последней четверти века объясняет страстное стремление русских заняться социальной перестройкой: два подряд военных разгрома, выродившееся верхнее сословие, постоянные тьма и голодуха в пьяном тумане, неоднократная пальба в безмолвствующий народ, преступная война и, наконец, возрастающая пропасть между достатком и нищетой — все это естественный повод, чтобы в полной мере проявился национальный темперамент.

— Эта героическая решимость любой ценой пробиться вперед безмерно возвышает мою страну в мнении всех честных людей мира, — с упорством отчаяния заключил Стратонов.

— Мне было крайне интересно слушать вас, — примирительно сказала Евгения Ивановна, — к тому же вы так красиво говорите, что я даже подозреваю, не писали ли вы стихов когда-то...

— Кажется, я в самом деле нахлестался сегодня с горя — и все же не судите меня, не выслушав оправданья!

— Но, право же, вы напрасно так убиваетесь, Стратонов, — очень искренне сказала Евгения Ивановна. — Правда, для меня было неожиданностью встретить вас уже дома, на родине, но я же не упрекаю вас. Я просто полагала по врожденной доверчивости, что вы умерли.

Его перекосило, как на дыбе:

— О, тогда я понимаю разочарование леди, которую потянуло навестить родные могилки. И каково же было бедняжке увидеть одного близкого покойника сидящим, так сказать, на могильной плите, выпивающим и закусывающим... — И тут что-то впервые прорвалось и зазвенело в его голосе: — Но, кто знает, не умираю ли я перед вами в сто тысяч первый раз!

— Безумный, когда же вы успели столько? — холодно посмеялась Евгения Ивановна.

— Да, я умирал от боли и горя при разрушении армии, от позора в скотском трюме при эвакуации, от голода вместе с вами, от стыда за самую свою живучесть, наконец. Я умирал ежечасно, возвращаясь домой с пустыми руками, ловя на себе взор заплаканных

глаз, опять и опять убеждаясь в бесполезности своего существования... И признайтесь по совести, разве вам не стало лучше без меня?

— Вы правы разве только в том смысле, дорогой Стратонов, что одинокой милостивой женщине легче устроиться за границей... — негромко согласилась Евгения Ивановна.

Темный румянец залил ее щеки. Вспомнилась одна ночная прогулка с мужем по какой-то очень знаменитой трущобе в Малой Азии; англичанин предпочитал первое знакомство с памятниками древности производить при луне, когда тишь и завеса ночи глушат машинный трезвон, скрадывают навязчивый колорит современности... Незнакомство с планом города завело их к полночи на полную притонов окраину. Гнусная, в два марша лестница сводила куда-то вниз. Надсадное мычание струн и кривляние теней на глиняной стене, курдская брань и смрад горелого мяса вместе с прыгающими оранжевыми бликами — все убеждало, что здесь помещается филиал преисподней. Видимо, адский разгул был там в разгаре... Вдруг полуобнаженная женская фигура с воплем вырвалась оттуда и махом, через все ступеньки, бескостная и развевающаяся вся, канула во мрак ночной улицы и судьбы. Англичанин успел удержать под локоть свою жену, едва не втянутую в вихревую воронку движения. Мало человеческого оставалось в промелькнувшей мимо твари, но если б даже втрое короче длился эпизод, все равно Евгения Ивановна опознала бы в несчастной свою тогдашнюю русскую подружку. На одной с нею койке, пока не приютил Анюту милосердный и рябой тунисский негоциант по оливковому маслу, они полгода промаялись вместе в Константинополе после стратоновского бегства. При втором замужестве у Евгении Ивановны явилась привычка часами иногда, в каком-то наркотическом оцепенении, созерцать эту зарубку на памяти, зараставшую диким мясом забвения. С тех пор все чему-то поверить не могла, и вот впервые краем рта усмехнулась жестокой радости наконец-то осознанного избавленья.

Разгоряченное лицо ей приятно и так своевременно поохладил ветерок с полноводной в это время года Алазани. Река объявилась тотчас за белесой отвесной скалой, на которой доцветал куст шиповника. Захрустела галька под ногами, тусклым блеском напоминавшая скинутую шкурку змеи. Евгения Ивановна сказала об этом Стратонову, тот не ответил.

Возвращались другой дорогой, тропинка вилась меж диких камней, накиданных вешнею водою.

— Что я мог предложить вам тогда, кроме совместного самоубийства?.. И разве смел я позвать вас с собою, если шел на верную смерть во рву, у первой же пограничной заставы? — тихо сказал Стратонов. — В меня стреляли столько раз...

— И что же, — поинтересовалась Евгения Ивановна, — всякий раз промахивались?

— О, если бы только это... С того дня, как меня выпустили на волю, я был пятновыводчиком, массажистом, подсобной шкурой у спекулянта, склейщиком фарфора, еще чем-то... всем, кроме мертвеца. Меня гнали отовсюду: бродяга, пусть с неполным университетским образованием, всегда подозрителен вельможе, читающему по складам.

Но все те годы я жил только негаснущим светом, который остался во мне от вас. Пусть, не хочу отменять судьбу... Вы уедете завтра, я останусь дожигать себя в белой горячке. И ночь эта не повторится, как жизнь. Но все равно, люблю вас, как фанатик поклоняется божеству: без надежды на отклик. В каждом звуке, пленявшем меня с тех пор — горный гром, шум травы, щебет птахи, — только ваш голос слышался мне в мире. Назначьте мне любую боль, лишь бы выжечь воспоминания о вас...

Со щекотным любопытством Евгения Ивановна вновь подумала, что, несмотря на седые виски, Стратонов по-прежнему грешит стишками. Живо вспомнился другой, чуть выцветший в памяти гимназический вечер в апреле семнадцатого года, где выздоравливающий офицер читал под рояль трескучие вирши с упоминанием чугунных

оков самодержавия, обгаренных кровью знамен и других красот адвокатского красноречия тех лет.

— Вам не следует говорить мне подобные вещи, господин Стратонов, — строго, почти чопорно предупредила Евгения Ивановна.

— Ах, все равно мне, все равно... Я просто пьяный от встречи, пьяный, как от спирта натошак! — напропалую твердил тот, как со дна ямы, на которую надвигалась плита. — И все равно в памяти вашей до гроба сохранится та священная ночь нашего бегства и обручения. Помните, мы стояли безмолвные на коленях... старухи плакали с образками в руках. Я вложил колечко в горячую полудетскую ладонь, которая сомкнулась навсегда.

Сам бог послал мне вас по молитвам всех матерей в моем роду... и все равно, все равно, как бы ни разводила нас жизнь, с той ночи мы не разлучались ни на мгновение. На моем тифлисском чердаке есть табуретка, на которую никто не садится, потому что в сумерках на ней сидите вы. И я знаю, знаю, вам нравится сидеть на ней... Никуда не зову вас, нищему хватит и призрака. Теперь вы уйдете и оттуда. Это последний рассвет, который мы делим вместе... все равно, все равно! Простите Стратонову его несчастья... и да будет благословенно во веки веков имя ваше, Женни!

Для убедительности он завершил свое признание легким, чуть воровским прикосновением к ее локтю, и тогда Евгения Ивановна ударила его по лицу, совсем не больно ударила из-за повторного на протяжении той ночи приступа дурноты... Собственно говоря, она совсем легонько ударила его, однако с достаточной силой, чтобы навсегда лишить этого человека иллюзий, неприличных в их нынешних отношениях.

— Вы поступаете нехорошо, господин Стратонов, называя меня именем, которым пользуется мой муж... и то не всегда, — дрогнувшим, но твердым голосом упрекнула она при этом.

Прикинуться, будто не заметил происшествия, Стратонову никак нельзя стало. Он собрался было корректным поклоном поблагодарить нарядную иностранную даму, которая своим поступком избавляла его от дальнейших угрызений совести, но не успел.

Вслед за тем недомогание Евгении Ивановны разъяснилось самым естественным образом, так что не пощечину, а именно следующий за нею момент надо считать наиболее болезненным в казни Стратонова. Неодолимая тошнота подступила к горлу Евгении Ивановны, швырнула ее на колени, едва успевшую на несколько шагов отбежать от гида.

Несмотря на попытку сдержаться, зажать рукою рот, оно прорвалось сквозь пальцы. Хотя в ту ночь было много острой и непривычной еды, никак нельзя было объяснить это отравлением. Больше того, именно эпизод этот показал Стратонову, что в описанном положении будущая мать английского ребенка и не могла поступить иначе.

Когда отвернувшийся, растерявшийся Стратонов отважился снова взглянуть на Евгению Ивановну, она, все еще на коленях, вытирала руку пучком голубоватой местной полынки.

— Так все внезапно, извините... где-то у меня там платок, дайте сюда! — прерывисто и жалко попросила Евгения Ивановна и перемогалась, пока Стратонов поодаль рылся у ней в сумке парализованными пальцами. — Да, тот самый, спасибо... и заодно возьмите со дна кольцо в бумажке, ваше прежнее. Хотела при отъезде... но уже все равно теперь! — И до повторенья приступа еще раз успела извиниться за доставленные хлопоты, которых, в сущности, не было.

В тон ей, себя не помня, бормотал и Стратонов, что какие же тут хлопоты, напротив, обслуживать клиентов и есть главная его обязанность, чтобы ни в чем не терпели неудобств, и кабы посуда под руками, он даже мог бы сбегать за водой, хотя бы речной, некипяченой на первое время — поблизости.

— Ничего, я обойдусь, скоро будем дома. Только отвернитесь теперь... пожалуйста!

Пока, поднявшись у Стратонова за спиной, она оттирала и стряхивала с себя что-то, он все насмотреться не мог на такое холодящее в ладони, тусклое золотце, которое в тот раз, вспомнилось точнее, сам надел на безымянный пальчик этой женщины.

— Взять под руку? — спросил он потом чужим голосом.

— Нет, у меня хватит сил добраться. Уже проходит... но прибавим шагу, пожалуйста, я так устала.

Они двинулись назад прямо полем, с двух сторон обходя большие камни и препятствия, где попадались...

Солнце взошло незамеченно, день надвигался пасмурный вследствие туч, которых откуда-то набежало целое небо. Как опустела за один тот час алазанская местность! И стала видна скопившаяся на ботинках пыль.

— Я навсегда сохраню самые хорошие воспоминания об этой поездке в Алаверды, — на глубоком вздохе сказала по дороге Евгения Ивановна. — Скажите, здешняя ярмарка повторяется ежегодно?

Вопрос был задан по-французски, и он означал согласие предать земле и забвенью одно совместное, досадно подзатянувшееся приключение в их жизни. Житейская практика давно приучила Стратонова мужественно сносить любые удары действительности, даже наловчился в самых жестоких передрыгах находить универсальное утешение неудачников, что могло быть и хуже, но вдруг еще не испытанная тоска охватила его при мысли, чем наполнить себе душу, если оттуда вынуть эту последнюю боль.

— Да, традиционная осенняя ярмарка приходится здесь на престольный праздник, так называемое Воздвижение креста господня... — по привычке к удобствам своего нового положения, отвечал Стратонов тем речистым языком, какой применяют гиды для удобства рассеянных, глуховатых иногда туристов. — Вследствие усиленной антирелигиозной работы... порою с привлечением не одних только просветительных мероприятий!.. удастся направить религиозный фанатизм местного населения в русло обычного крестьянского праздника. Я очень рад, что до вас, как и до мистера Пикеринга, дошло очарование этого несколько экзотического развлечения... — И краткая лекция завершилась перечислением простонародных товаров, составляющих предмет торга на алавердинской ярмарке.

Под предлогом набрать сухих сучьев для костра Стратонов поотстал на обратном пути.

Поразительно, что англичанин как-то не обратил внимания на появившуюся прямо перед ним Евгению Ивановну. В ее отсутствие телианцы успели водрузить на заморского гостя черную войлочную шапочку, означавшую посвящение в почетные кахетинцы.

Кулинарные неистовства ночи сменились пиршеством ума, — Евгения Ивановна застала самый конец дискуссии на важнейшую тему дня. Мистер Пикеринг охотно соглашался со своими новыми друзьями, что жить по-старому в мире становится все опасней для человечества со столь взрывчатой цивилизацией и что прогресс следует подчинить идеям общественного гуманизма, однако настаивал, с другой стороны, что величие любой идеи мерится достигнутым с ее помощью благосостоянием населения, а не количеством жертв во имя ее... Беседа протекала на довольно упрощенном словарном уровне, зато местами необыкновенно бойко, во всяком случае, без существенных запинок — как всегда, когда собеседники ведут ее на третьем, недостаточно освоенном языке. Нехватка слов возмещалась оживленным жестом, общеупотребительными фигурами из пальцев, также идеографическим указанием на предметы из окружающей действительности, и, видимо, мистеру Пикерингу очень пригодился его навык работы с иероглифическими текстами.

Впрочем, обе стороны уже достигли той блаженной степени взаимного понимания, когда переводчика с успехом заменяет вино.

Может быть, этим обстоятельством и объяснялась неподвижность мистера Пикеринга, даже когда воротившаяся жена его опустилась рядом на ковер. Но хотя по-

прежнему, с видом глубокой заинтересованности кивал он хозяевам пира, все его внимание целиком поглотили таинственные мелочи, которые с таким точным и низменным отбором подмечает ревность, — вроде впалых щек, пыли на юбке жены или необъяснимого исчезновения гида.

— Господин Стратонов решил набрать хворосту для прощального костра, — по-английски ответила Евгения Ивановна его единственному и беглому взгляду. — Мы с ним обошли почти все кругом, и вдруг мне ужасно захотелось домой... никуда больше, только домой!.. но я совсем не представляю себе, док, это очень далеко от Лондона, наш Лидс?

— Нет, четыре с половиной часа поездом... — сказал англичанин, не замечая съехавшей набекрень кахетинской шапочки и бесчувственно глядя в точку перед собою.

— Мне давно хочется посмотреть Лондон, я должна знать свою столицу. Мы непременно съездим, когда устроимся, хорошо?.. Наш дом далеко от университета?

— О, всего двадцать минут ходьбы. Это на Cottage Road.

— И парк какой-нибудь найдется поблизости?.. Нам довольно скоро потребуется, чтобы хоть маленький был поблизости парк.

— В семи минутах находится the Hollies.

— И сразу по приезде возобновим наши вечерние прогулки перед сном... так надо. Там, в общем, большие деревья или не очень?.. От больших деревьев всегда такая миротворяющая прохлада. А какая-нибудь церковь тоже найдется в окрестности?

— Да, совсем рядом, St. Chad's.

Вконец обессиленная, откинувшись затылком к тутовому дереву, Евгения Ивановна изнеможенно прикрыла глаза. Она постаралась представить себя через пять лет, но странно, ей никак это не удавалось. Нашарив рядом, она пожалала холодную, как в параличе, руку мужа, и та не ответила на пожатие.

— Я так думаю, милый, что из меня получится неплохая хозяйка. И так как моя умерла, я буду вдвойне любить вашу мать... я правильно сказала это по-английски?

— Нет, по-английски надо сказать просто I shall love her, — неуверенно пока поправил мистер Пикеринг.

Никто кругом не слышал их, телианцы в двадцати шагах посменно тормозили лежавшее на дне биука тело. Это они старались вернуть шофера в мир огорчений, к предстоящей транспортной деятельности, из его блаженного небытия. Вдруг Евгения Ивановна приникла к мужу ослабевшим телом.

— Уедем скорее домой, ради бога, завтра же... мне нехорошо здесь, не могу больше.

Его плечо дрогнуло под ее щекой.

— Вы заболели, Женни?

— Не знаю, я ничего не знаю... но, кажется, скоро нас будет трое.

Потребовалось дважды сообщить мистеру Пикерингу эту новость, чтобы тоскливое чувство покинутости полностью сменилось торжественным сознанием наступающих перемен. Медленной чредой, и уже не возвращаясь, тени тягостных раздумий уходили с его лица. Он поднес к губам руку жены и, задержав на весу, долго рассматривал ее влажные крупные, такие нелживые пальцы.

— Повторите мне это, теперь по-русски, — попросил он в третий раз.

Здесь вернулся Стратонов и, бросив в костер всю охапку хвороста, отошел прежде, чем занялось. Все еще раз опустились на кошму оказать честь заплывавшему огню. Ненадолго, за клубами пламени и дыма, Стратонов стал почти не виден супругам Пикеринг. Гид с опущенной головой сидел на шоферской кошме, уставясь взором в груды проросших травой булыжников, оставшихся от ремонта дороги. По таинственному совпадению, крайний имел форму сердца, только в наивном детском начертании. Ровно такой же находился у Стратонова в груди. Потянуло захватить его с собой на память об алазанской ночи. Камень легко вынул из неглубокого, источенного ходами ложа. Черное существо шевельнулось на дне ямки, подняло зловещий крючок. Стратонов с

силой вернул камень на место, после чего сконфуженно занялся приготовлениями к отъезду. Ему досталось скатать ковры, кроме того, сложить в багажник дорожные бутылки и немытую утварь праздника. Все это он проделывал без понуждения и с расторопностью, свидетельствующей о раскаянии и сноровке.

Наступившая затем пора прощанья разделила присутствующих на два неравных лагеря.

На одной стороне оказались супруги Пикеринг, а на другой сбившаяся в кучку толпа местных жителей и зевак. Прослышав о редкостных посетителях, многие от соседних костров, легко опознававшиеся русские в том числе, пришли проводить их бокалами вина в дальнюю дорогу. Хотя по всемирной славе и внешности своей англичанин заслуживал гораздо большего внимания, все почему-то смотрели не на англичанина, а на его молоденькую жену, озирающуюся вокруг с молчаливой приглядкой напоминания, особо пристальной ко всему, с чем разлучаешься навеки.

И тогда обострившемуся зрению Евгении Ивановны приоткрылась суть происшедших с нею перемен. Все, что светилось в глазах у провожающих: скромная гордость и хозяйские заботы, трудовые огорчения и порой трагические будни, — все это уже не принадлежало ей. Евгения Ивановна узнала это не с желанным чувством облегчения, а — какой-то щемящей, виноватой тревоги и уже ничем не возместимой утраты. Теперь она была начисто избавлена от печалей бывшей родины, от нынешних ее бед и тех, что поджидали всех этих людей впереди, от порою непосильных трудов и переживаний эпохи, роднивших их, как грозный исторический пароль. Рукой дотянуться — так было близко до них, а уже морские расстояния отделяли их от Евгении Ивановны, и когда она издали, почти робко улыбнулась остающимся, они отвечали ей с приветливым холодком, потому что прощаться с чужестранкой по-старому, по-домашнему, стало теперь невежливо, не положено.

Тут мистер Пикеринг принялся благодарить хозяев пира. Он справился, между прочим, не бывает ли у них попутных okazji в Англию? Нет, отвечали телианцы, на данном отрезке времени таких okazji у них как-то не предвидится...

— Живите хорошо, чтобы всегда пламенела вечная мысль, как доброе кахетинское вино, — почти без акцента произнес на прощанье англичанин.

— Копай свое прошлое так, — в том же приподнятом тоне отвечали телианцы, — чтобы это помогло стать честней и краше будущему.

— Мшвидобит... — с неожиданным усилием выговорил мистер Пикеринг, уже осведомленный, что по-грузински это означает до свидания.

— Гуд бай, генацвале! — засмеялись телианцы, с обеих сторон дружественно касаясь его плеча.

Шофер пришел спросить, не стоит ли поднять брезентовый верх на биуке: тучи над перевалом сулили близкую непогоду впереди. Минуту простояли с опущенными руками, предоставляя молчанию довести до конца недосказанные речи. Толпа расступилась на гудок, Стратонов с ходу вскочил на свое сиденье. Наклонившиеся по ветру, мимо двинулись серые подорожные сорняки. ...За всю жизнь, пожалуй, никуда так страстно не хотелось Евгении Ивановне, как в Англию теперь, в загадочную, туманную Англию, поскорей, где ей предстояло умереть весной следующего года. Надо полагать, снова постигшее мистера Пикеринга одиночество и заставило его пожизненно, с головой зарыться в наиболее успешные свои, эдесские раскопки, навечно закрепившие за ним мировую славу... Кстати, британские медики объяснили ему гибель жены послеродовым осложнением; диагноз был бы точнее, если бы, помимо истории болезни, они располагали скудными сведениями о своей пациентке, изложенными в этой повести. Ввиду того, что англичане никогда не разлучаются со своей страной, владея чудесной способностью привозить ее с собою на новое местожительство, они, по слухам, почти не болеют тоской по родине в русском ее пониманье. Под недугом ностальгии там подразумевается всего лишь далеко не смертельное недомогание от изменения климатических условий, разрыва

с привычной средой, обедненного общения с людьми на чужом языке. Вот так же и в прошлом: попытки не испорченных западной цивилизацией наших беглецов вывезти с собою горстку сурового русского снежка в страны более умеренного климата завершились неудачей, — он неизменно таял... Но в самую минуту отъезда с Алазани миссис Пикеринг чувствовала себя на редкость легко, вплоть до ощущения полной невесомости порою, хотя и со щемящей болью падения в сердце, какою, впрочем, и должна сопровождаться смена родины. Когда же машина тронулась в дорогу, что-то заставило женщину оглянуться... Сквозь мутное овальное окно за спиной видно было, как среди поля разгорался покинутый костер. Ветер вычесывал из него пригоршни искр, они неслись вдогонку. Потом биук повернул за оливковую рощу, и рядом с царапинами времени на целлулоиде обозначились подвижные царапины дождя.